

空山

ПУСТАЯ ГОРА

СКАЗАНИЕ
О СЧАСТЛИВОЙ
ДЕРЕВНЕ

А Лай
阿来

Лай А

**Пустая гора. Сказание
о Счастливой деревне**

Международная издательская компания «Шанс»

УДК 82-31(510)

ББК 84(5Кит)

А Л.

Пустая гора. Сказание о Счастливой деревне / Л. А —
Международная издательская компания «Шанс»,

ISBN 978-5-907277-43-4

В книге рассказывается о событиях, происходивших в глухой тибетской деревушке накануне и в первые годы «культурной революции». Разнородное население Счастливой деревни – тибетцы и пришлые ханьцы, крестьяне и потомки аристократических семейств – живут бок о бок, то помогая друг другу, то злословя и досажая тем, кого определили в изгой. Платить за это приходится страшную цену – двум очень разным семьям это стоило жизни их детей. Но ещё более серьёзным испытанием для властей, для всей деревни и для каждого из её жителей становится неукротимая стихия лесного пожара... В условиях исторических изменений и перед лицом природной катастрофы новое поколение выбирает свой жизненный путь, невольно следуя заветам стариков. Для широкого круга читателей.

УДК 82-31(510)

ББК 84(5Кит)

ISBN 978-5-907277-43-4

© А Л.

© Международная издательская
компания «Шанс»

Содержание

Предисловие	6
Часть 1. Гонимые ветром	8
1	8
2	11
3	15
4	22
5	25
6	31
7	36
8	43
9	47
10	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

А. Лай
Пустая гора. Сказание
о Счастливой деревне

© ООО «Международная издательская компания «Шанс», перевод, оформление, 2021
© ООО «Переводческое издательство Китая», 2021
© ООО «Восток Бук», 2021

Предисловие

Из лекций и школьных уроков мы помним, что главная и единственная тема литературы – это человек, он же – её основной инструмент и действующее лицо. Даже если это пейзажная лирика. Не важно, где, когда и с кем происходят изображаемые писателем события, это всё – о нас.

Современный тибетский писатель А Лай известен и у себя дома – в Китае, и в мире. Когда-нибудь ему дадут Нобелевскую премию, но это не так важно, потому что уже сейчас его много читают, и его творчество оказывает большое влияние на развитие самосознания Китая – ведь он пишет на языке полуторамиллиардной страны о тех событиях, которые происходят сейчас и происходили в недавнем прошлом; о том, что всегда было и всегда будет с людьми – слегка по-своему для каждой страны и каждого поколения.

Природа и человек, смена поколений, обыденное и божественное, красота и уродство, несправедливость и ненависть, любовь и покаяние, жизнь, которая содержит в себе смерть, и смерть, несущая жизнь... Масштаб писателя, как известно, измеряется не объёмом написанного, а проблемами, за которые он берётся, и тем, как их раскрывает. Сюжет произведения – будь это неотправленное письмо или даже всего лишь почтовая марка, а может быть всеобщая, вселенская катастрофа – только даёт повод и возможность говорить о по-настоящему важных для человека вещах. Скажем так: очевидная вроде бы истина «не убий» без истории Каина и Авеля повисает в воздухе... А по-настоящему рождается всё это в глазах читателя.

Одни видят в произведениях А Лая мистику – как же без неё в далёком загадочном Тибете! – а кто-то считает, что он глубоко исследует тему смены эпох, процессы уходящей в прошлое традиционной деревни с её многовековым укладом и тем вносит большой вклад в современную китайскую литературу. Не обходит он стороной и вечную рану Нового Китая – «культурную революцию», её механизмы и её воздействие на людей.

Действие в многотомной эпопее, рассказывающей о тибетской деревне, затерянной далеко в горах, происходит в контексте событий современности. Духи, вечные горы и традиционное тибетское мировоззрение соседствуют, взаимодействуют, сталкиваются – с политикой, современной техникой, новым мышлением.

Взаимоотношения личности и социума также зачастую имеют форму конфликта. Найти себе место в мироздании какой-нибудь одной, отдельно взятой душе бывает проще, чем построить взаимоотношения с такими же людьми и даже с собственными близкими. Это главная тема первой части «Сказания о Счастливой деревне» – повести «Гонимые ветром» из цикла «Пустая гора». Художественное и философское осмысление темы «личность и общество» с позиций восточной культуры, несомненно, будет интересно читателю.

Если первая часть, можно сказать, камерная, замкнутая горами, за пределами которых мир только угадывается, и даже рассказать о внешнем мире и то некому – лишь только серебряный самолётик регулярно пролетает над этим местом по своему маршруту, – то вторая часть эпопеи, «Небесный огонь», затрагивает уже глобальные вопросы, приобретая временами библейское звучание. В этом романе-катастрофе материальный мир и новая эпоха социальных технологий и ядерных взрывов врываются в привычный уклад и индивидуальное сознание, как говорится, и весомо, и грубо, и зримо. Здесь взаимодействие отдельной личности и социума – это лишь часть сложного процесса столкновения миров.

Автор не только писатель, но ещё и редактор, издатель. Он руководит писательской ассоциацией Сычуани – самой большой провинции Китая, создал и издаёт самый большой в мире по тиражу ежемесячный научно-фантастический журнал.

И ещё – у произведений А Лая есть интересная особенность: к ним хочется возвращаться и перечитывать. Каждый раз возникает ощущение, что в прошлый раз не всё понял...

А. Монастырский

Часть 1. Гонимые ветром

Есть вещи, которые нельзя говорить другим – каждый должен понять это сам.

1

С тех пор уже прошло немало лет, Гэла вырос; когда ему навстречу, не поднимая головы, идёт Эньбо, даже когда они сходятся и Эньбо наконец поднимает полные кровяных ниточек глаза, смотрит прямо на него – Гэла уже не боится, и больше не чувствует непонятного необъяснимого стыда...

А вообще-то, когда по ныряющей то вверх, то вниз дороге, что ведёт от мельницы до Счастливой деревни, издалека навстречу идёт человек, то сначала из-за холма появляется его голова в войлочной шляпе, пропадает, снова всплывает, потом показываются плечи, а затем уже постепенно появляется большое тело, выступает над землёй, словно чёрт, которого земля понемногу выдавливает из себя.

Сначала Гэле всегда становилось страшно, всегда почему-то его охватывал этот необъяснимый стыд.

Но теперь уже нет. Он поднимает голову, и хотя внутри себя по-прежнему ощущает в сердце лёгкую слабость, но пылающий в его глазах гнев заставляет ту ненависть, в тех глазах с кровяными прожилками, смениться на нерешительность и сомнение, а потом и глаза и голова опускаются, никнут...

Эти двое, один уже пожилой, а другой ещё подросток, всегда встречаются на этой дороге, каждый раз не произнося ни слова. Вначале Гэла дрожал и сдавался. Теперь всё наоборот, уже Эньбо, ещё не старый, но рано одряхлевший, первым опускает голову, избегая острых глаз подростка.

Всё потому, что умер мальчик.

Он был на четыре года младше Гэлы. Это был сын Эньбо. Когда сыну Эньбо было девять, перед Новым годом его ранило разорвавшейся петардой. Рана потом воспалилась, от заражения он вскоре после праздников умер.

Что девятилетнего ребёнка ранило петардой, было делом совершенно заурядным. Тогда вся толпа радостно возбуждённых ребятишек разбежалась с криком, остался он один, пострадавший – худенький, слабенький, бледный мальчишка, плачущий посреди маленькой площади, плачущий не столько от боли, а больше от испуга. Такого легко было испугать, недаром у него и прозвище было «Заяц».

Заяц плача пошёл домой. Тем бы дело и кончилось. Однако с китайского Нового года до тибетского Нового года белая тряпка, которой была у Зайца замотана шея, становилась всё грязнее и грязнее, сам он тоже становился всё унылее и подавленней.

Потом в тот день вечером он умер.

До того, как Заяц умер, по всей деревне ходил слух, что ранившая Зайца петарда вылетела из рук Гэлы. Именно так передавали, хотя и без уверенности, как предположение, но ведь ветер в любую дырочку проникает, даже самую маленькую.

Гэла думал: они ошибаются, у меня не было петарды, у меня нет отца и нет старшего брата, которые бы достали мне где-то петарду.

Он спросил через изгородь у бабушки Зайца:

– Вы верите, что это я бросил петарду?

Старая бабушка подняла мутные глаза:

– Ты такой же несчастный ребёнок, как и он, нет, не ты...

Но когда он первый раз увидел отца Зайца, увидел огонь гнева в его глазах – он сам почти поверил, что это он отнял у Зайца жизнь.

Голосок у Зайца был тоненький, худой такой, слабенький был Заяц. Всегда тихонько сидел с мамой, грелся на солнышке, а теперь вот умер, его сожгли, он превратился в чёрный дым, который разлетелся по ветру, никогда больше он не появится на площади в центре деревни...

А тогда в полдень в небе носился пух ивы, Гэла с мешочком муки на спине возвращался домой с мельницы и по дороге встретил отца Зайца – Эньбо.

Эньбо ещё подростком вслед за своим дядей Цзянцунь Гунбу, монахом в монастыре Ваньсянсы – Десяти Тысяч Обликов – ушёл из семьи, и в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году по новому летоисчислению, так же вместе с Цзянцунь Гунбу, вернулся в мир – правительство заставило. Он был в селе из тех немногих, кто знал грамоту, умел и читать, и писать. Образованнее его был только сам лама Цзянцунь Гунбу. Цзянцунь Гунбу был человек учёный, уважаемый. Эньбо, стало быть, тоже. У него было не очень-то сочетающееся с его крепкой здоровенной фигурой доброе выражение глаз и приветливое улыбочное лицо. Но теперь идущая навстречу большая фигура Эньбо была сгорбленной и печальной, квадратное лицо искажено ненавистью, ясные умные глаза опутаны сетью кровавых ниточек, взгляд их был холоден как нож и горяч как пылающие угли.

Гэла остановился, сглотнул комок в горле, хотел сказать что-то, но глаза Эньбо с такой ненавистью смотрели на него, что он не смог разжать губ. Он слышал внутри себя собственный голос: «Бабушка говорит, что это не я убил Зайца!» – но этот голос слышал только он сам. Эньбо прошёл мимо.

В тот день вечером Гэла лежал на подстилке из овечьей шкуры и чувствовал, как сжимается, болит сердце. Потом во сне перед ним возникло мертвенно-бледное лицо Зайца с его обычной робкой застенчивой улыбкой. Заяц тоненьким тихим голосом робко сказал:

– Они напрасно обижают тебя, петарду не ты бросил.

Гэла разом вскочил на постели:

– Тогда скажи кто! Ага из дома Кэцзи, брата Ванцин, сын громкоголосого Лоу Дунчжу – Цими с заячьей губой, или...

Это был действительно странный сон; когда Гэла называл имя, позади Зайца появлялось лицо, а потом эти лица окружили Зайца и все разом стали настойчиво требовать: «Скажи! Кто?»

Лицо Зайца белело всё сильнее, делалось всё тоньше, прозрачнее, словно лист тонкой бумаги, и потом совсем исчезло.

Он позвал маму. Но мамы не было, она, наверное, опять ушла на ток, где молотят пшеницу. Эти приятно пахнущие стога сухой травы так нравятся мужчинам, их так любят женщины... Слезы ручьями полились из его глаз.

Может быть, это из-за того, что у него не было отца, он стал таким одиноким, и его всегда несправедливо обвиняют? Он чувствовал тепло в груди и тянулся к этим двум сельчанам – вернувшимся в мирскую жизнь монахам, с их добрым взглядом и улыбочными мирными лицами.

Цзянцунь Гунбу было уже за пятьдесят, когда он вернулся в мир; возвратившись в деревню, он так и жил всё время один. Гэла не раз видел – и ему нравилось видеть – как всякий раз, встречаясь с его матерью Сандан, этой «непрочно завязавшей свой пояс женщиной», он сильно смущался. Такого рода женщина для монаха – средоточие всего дурного, ведьма,

воплощение злого демона-ракши в женском облике. Но «ведьма» не пыталась его зацепить, не бросалась на него. Эта женщина только улыбалась время от времени трогательной глупой улыбкой – потому глупой, что для неё не было особого конкретного повода. Ещё она любила всё время что-то бормотать, приговаривать, и точно так же эти её бессвязные тихие речи не были обращены к кому-то или чему-то конкретному.

Гэла даже фантазировал раньше, что вернувшийся к людям монах Эньбо – это его отец. Но Эньбо взял в жёны красавицу Лэр Цзинцо. У них родился слабенький, не пойми в чём душа держится, Заяц. Разорвавшаяся петарда унесла жизнь Зайца. Люди между собой говорят, что эта петарда была брошена рукой Гэлы...

Гэла звал мать; мать ушла, ушла на пахнущие душистой сухой травой стога на току. Лунный свет проник в комнату. Гэла высунул руку наружу в окно. Эта рука никогда не держала петарды – завернутой в красную бумагу большой петарды, дающей настолько громадный, сильный, совсем не сопоставимый с её размером звук.

Но сейчас он совсем отчётливо почувствовал в смутном неверном лунном свете: эта петарда, несчастье, действительно взорвалась на кончиках его пальцев; почудилось, что с них течёт кровь – и острая мучительная боль пронзила всё внутри.

2

Лэр Цзинцо красивая, но очень многие мужчины деревни не хотели брать её в жёны. Её красота – тонкая талия, белое лицо – не та здоровая крепкая красота, которая на первом и главном месте здесь, в деревне. Старики вздыхали и говорили, что раньше бы, до Освобождения, такая тонкая и нежная обворожительная красота давно привлекла бы местных старшин и голов, которым нет забот трудиться, они все гарцевали бы у её ворот на своих скакунах. Только вот в эти годы, когда всем надо быть на полях да ещё думать каждый день, будет ли чем наполнить живот, – кто думает о прекрасном в такое время?

«Если вовремя не сорвать цветок, он завянет», – вздыхала мать Эньбо. Она сама была в своё время красавицей с большими глазами и густыми бровями, её вернувшийся в мир сын был телосложением хорош и крепок, настоящий мужчина, а доставшиеся от матери глаза и брови делали его внешность красивой и выразительной.

В тот год весной мать Эньбо снова с нежностью и жалостью, взяв Лэр Цзинцо за руку, говорила:

– Если не сорвать цветок вовремя – он понапрасну завянет...

К этому времени тонкая и гибкая как ива талия Лэр Цзинцо была уже в объёме как ведро. Только старая женщина с бельмами на обоих глазах не слишком присматривалась. В Счастливой деревне из женщин после пятидесяти очень мало кто сохранял живость и ясность взгляда, все они в основном были добрые душой, мягкие на словах, с каждым днём становясь всё бестолковее. А Лэр Цзинцо была не только внешне тонкой, нежной, душа её была такая же; когда мать Эньбо обеими своими старческими руками погладила её ладонь – послышался грубый шуршащий звук, она невольно вздрогнула, словно испугавшись, высвободилась и быстро ушла.

Старая бабушка внимательно прислушалась, наклонив голову: она услышала удаляющийся шорох юбок, услышала шум пшеницы, которую колышет в поле ветер, услышала прилетевшее с ветром издали весеннее кукование кукушки – и улыбнулась: «Какая стыдливая девочка!»

Она не знала, что Лэр Цзинцо, убежав от неё, бросится на грудь её сыну, прижмётся, вцепится, и смеясь и плача: «Эньбо, мама так жалеет меня! Скорее введи меня в дом!»

Эньбо с тяжёлым сердцем пошёл к дяде:

– Учитель, побей меня!

Цзянцунь Гунбу сказал:

– Я не то чтобы не хочу тебя побить, но я боюсь, когда буду бить, как бы не убить на тебе какую-нибудь вошь. Племянник, если ты совершил грех, нельзя и меня следом за собой тянуть во грех, это же не по-братски!

Сказав, он сложил руки за спиной и ушёл сквозь колышущееся под ветром пшеничное поле в сторону деревни. Его младшая сестра, бывшая первая красавица, сидела у источника под сенью старых больших кипарисов и подслеповато щурилась в их сторону.

Что происходит прямо сейчас перед тобой, не могут как следует разглядеть широко раскрытыми зоркими глазами грамотные и умные люди, ты-то что можешь увидеть? Мысленно вздохнув, Цзянцунь Гунбу подошёл к сестре, сказал:

– Поздравляю, добрая моя сестрёнка – будешь нянчить ребёночка.

– Но ведь Эньбо монах, прародитель Будда может послать ему наказание...

Цзянцунь Гунбу взглянул на тёмно-синее небо и тихо сказал:

– Успокойся, прародитель Будда теперь не здесь, он ушёл в другие края...

Про Будду она сказала просто так, не задумываясь, но когда наконец поняла, что мальчик действительно сошёлся с Лэр Цзинцо, то замотала головой и залилась слезами.

А Эньбо шагал по тропинке через поле, спеша почтительно сообщить обо всём матери. Уже выходящая в колос пшеница клонилась с обеих сторон и совсем накрывала тропинку. Широкоплечий Эньбо прорывался сквозь стебли, с опущённых колосьев летели облачка пыльцы, сверкая в солнечных лучах искристым сиянием.

Цзянцунь Гунбу видел, как ещё державшаяся на стеблях роса тоже летела во все стороны от человека с бритой головой, словно крупный сильный зверь, шедшего через пшеницу; это было так красиво, что он даже почувствовал головокружение. Во время медитации в монастыре, когда приходит прозрение, ощущаешь, пожалуй, такую же лёгкость и радость.

Он вскарабкался наверх к источнику, набрал полный рот кристально-прозрачной, сводящей зубы холодной родниковой воды и брызнул на лицо младшей сестре. Та вздрогнула, очнулась, ничего не понимая, посмотрела вверх на густые кроны нависающих над источником огромных кипарисов, скривила рот, словно собираясь заплакать. Цзянцунь Гунбу обнял её:

– Добрая моя сестра, вот увидишь!

Тут мать Эньбо тоже увидела, что сын её спешит к ней, широко шагая через поле, размахивая руками, сбивая летящую во все стороны пыльцу с колосьев, так что вспугнутые мотыльки, как мантия, колышутся за ним на ветру. Картина была настолько завораживающая, открытое лицо и ясные глаза были словно у божества, идущего к людям. Как только сын подошёл, она расплакалась:

– Сынок, веди эту несчастную женщину в наш дом!

В это время вдаль раздалась протяжные звуки гонга – на пшеничном поле гоняли обезьян и стаи птиц, воровавших урожай народной коммуны.

Стояло лето тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года новой эры.

В это время Гэла, которому было тогда чуть больше четырёх лет, волочил ноги в их сторону, держа на плечах полупустой мешок, где лежало немного цампы. Он видел, как трое самых добрых людей деревни сидят над источником в прохладной тени старых кипарисов. Он шёл с мельницы; там человек, смотревший за её работой, всегда давал ему чуть-чуть цампы – грубо помолотой муки из обжаренных зёрен. Его мама Сандан работала плохо, в производственной бригаде ей давали мало зерна; лето шло к концу, осень ещё не наступила, и у них двоих, у матери с сыном, зерно уже кончилось.

Цзянцунь Гунбу помахал ему рукой, Гэла шмыгнул носом, втянул соплю, подошёл и стал перед ними.

Мать Эньбо протянула руку и пощупала мешок:

– Э-э, детка, тебе везёт сегодня!

Гэла улыбнулся. Эньбо сказал:

– Смотри-ка, улыбается точь-в-точь как его мама.

И правда, улыбка была у Гэлы такая же бездумная, нескромная, беззаботная.

Эсицян – то есть мать Эньбо – с ласковой жалостью потрепала Гэлу по голове и сказала:

– Чем виноват бедный ребёнок? – потом выискала на дне своей котомки лепёшку с налипшими на неё зёрнышками кунжута, отломила кусочек и вложила ему в руку.

– Бедный мальчик, когда мой внук появится на свет, я скажу ему, чтобы он играл с тобой, у тебя будет товарищ, будете играть вместе!

Гэла отгрыз кусочек и, смеясь, убежал. Когда он прибежал к дому, Сандан стояла у входа, прислонившись к дверному косяку, и во весь рот – у неё были ровные, красивые белые зубы – улыбалась бездумной, нескромной, беззаботной сверкающей улыбкой.

В этот год, когда выпал первый снег, родился Заяц. Новость была такая же чистая и свежая, как снег. Снежные хлопья кружились и опускались, ложились на старые кипарисы, стоя-

щие над источником на восточном краю деревни, ложились на петляющую, поднимающуюся и опускающуюся дорогу, уходящую ещё дальше на восток, к мельнице, ложились на вытянувшие в каждом дворе свои упругие голые ветви ореховые деревья, с которых уже опали все листья, ложились на укрытые слоями дранки или накатанной глиной крыши жилищ, на каждый уголок села; Гэла смотрел в небо, где были одни танцующие и кружащиеся снежные хлопья, в сердце звучал голос бабушки Эсицзян: у тебя будет товарищ, будете с ним вместе играть...

Он гоготнул, заулыбался.

Мать спросила:

– Что смеёшься, сынок?

Гэла не ответил, он не мог остановиться, смеялся, похохатывал, и Сандан вслед за ним тоже зашлась смехом.

Этот снег быстро выпал и так же быстро сошёл; солнце пробуравилось сквозь слой облаков, его лучи просочились то тут, то там и достигли земли. Высыпали люди – чем дальше, тем больше следов на снегу, следы сюда, следы отсюда, вдоль, поперёк, чистое белоснежное поле стало грязной раскисшей жижей.

Люди тихо, незаметно переговаривались: у Лэр Цзинцо только что родился мальчик, плаксивый, слабенький, даже грудь сосать сил не хватает – наверное, не выживет.

Всю зиму один за другим шли снегопады, и так же не прекращались эти разговоры. Он тоже заметил: чистые, ясные большие глаза Эньбо стали с тонкими кровяными ниточками. Набравшись храбрости, он подошёл к этому большому взрослому мужчине, но так ничего и не сказал. Эньбо был весь погружён в своё, безразлично скользнул по нему взглядом, отошёл.

В Счастливой деревне все дома – это двухэтажные или трёхэтажные постройки из камня; в трёхэтажных верхние два этажа для жилья, нижний – для скотины, а у тех, кто живёт в двухэтажных постройках, скотину держат снаружи, загон устраивают обычно на дворе, ограждённом деревьями. После того как быков и овец забрали в производственную бригаду, в частных хозяйствах остались только дойные коровы, которых можно иметь в личной собственности.

У семьи Эньбо был как раз двухэтажный дом из камня. Загон для скотины занимал больше половины двора. Оставшаяся половина была вся занята яблонями: две маленькие китайки и одна азиатская, цветущая крупными красными цветами. Под деревьями – грядка с анисом и грядка с чесноком.

Зимой листва с фруктовых деревьев опадает, земля под ними промерзает так, что белеет. Но в загородке для скота настелена сухая трава, солнечные лучи греют и размягчают землю; когда солнце поднимается повыше, от навоза идут испарения, и в загоне становится ещё теплее. В такое время некоторые на досуге любят посидеть на дворе, в загоне для скота, на сене, отогреваясь под золотыми лучами солнца, возясь с какой-нибудь мелкой работой. После коллективизации праздного времени было всё меньше и меньше, только кто-нибудь из стариков теперь так сидел и наслаждался солнечными лучами.

У Гэлы дом стоял, прилепившись сбоку к амбару производственной бригады, двора не было, и не было загона для скотины. Сандан работала на поле кое-как, часто прибегала куда-нибудь на чужой двор, когда там никого не было – посидеть на соломе – и сидела, расчёсывала свои чёрные, маслянисто блестящие волосы.

Она часто бегала во двор дома Эньбо. Там, во дворе Эньбо, солнце, может быть, светило особенно хорошо, а может потому, что если она в обед не уходила домой, то ей обычно что-нибудь давали поесть.

Гэла тоже ел по соседям. Иногда, прошатавшись до полудня ничего не евши, он шёл туда, к Сандан, и ел вместе с семьёй Эньбо. Эсицзян, мать Эньбо, ставила им деревянный поднос, две пиалы пустого чая, кусок лепёшки и две или три печёные картофелины; не богато, да и

не слишком-то много, но всё же достаточно, чтобы им двоим продержаться до вечера, когда солнце опустится за горы и они уйдут домой на ужин.

Но в этот год в доме Эньбо появилась новая хозяйка. На красивом лице новой хозяйки часто появлялось неприятное выражение при виде этих незваных гостей, и Сандан больше не ходила во двор Эньбо.

Однажды Гэла шёл мимо их дома, и Эсицзян через изгородь спросила:

– Детка, как ты, как твоя мама, всё хорошо?

Гэла не ответил; в Счастливой деревне не могло быть чего-то особенно хорошего для него и матери, он и не особенно понимал эти так называемые «хорошо» и «не хорошо». Одни говорят, что теперь не так, раньше было лучше, другие говорят, что жизнь стала по сравнению с прежней лучше – и намного. Партии за то, что жизнь хорошая, и за то, что жизнь плохая, разделились; те, кто говорил, что жизнь хорошая, тех сверху поддерживали, и они всегда брали верх. Но Гэла в этом тоже ничего не понимал.

Эсицзян через изгородь сказала:

– Ты погоди...

Потом она, спотыкаясь, нетвёрдыми шагами сходила в дом, вернулась, вложила ему в руку кусок холодной варёной говядины с налипшим студнем. Движения у неё и взгляд были совсем старческие, немощные.

Раньше бы Гэла, как всегда, сразу вцепился зубами в мясо, но теперь он только посмотрел на Эсицзян неподвижными глазами. Эсицзян раскрыла рот с неизвестно когда выпавшими передними зубами, улыбнулась и сказала:

– Смотришь, что я постарела?

Только тогда Гэла откусил полный рот мяса.

– Я же бабушка, разве бабушки могут быть не старыми? – обречённо и вместе с тем довольно улыбнулась Эсицзян.

Этот кусок Гэла откусил слишком большой, такой, что не мог прожевать, но он выпучил глаза, вытянул шею с выступившими венами, напрягся и целиком проглотил-таки жёсткое мясо, застревавшее в горле.

Словно за одну ночь Эсицзян превратилась из крепкой здоровой женщины в старуху.

В Счастливой деревне это было дело обычное. Крепкие, нестарые мужчины и женщины из-за чего-нибудь вдруг превращались в стариков и в старух. Старики потягивали свои едкие трубки, раз за разом сплёвывая в угол. Здоровые бойкие женщины с прямой спиной вмиг скрючивались, острый ясный взгляд становился мутным и тусклым. Поколение за поколением люди в Счастливой деревне, пожалуй, что все так старели. Сейчас, посмотрев на Эсицзян, ребёнок впервые это понял и содрогнулся.

Но всё внимание очень скоро переключилось на большой кусок варёной говядины в его руках. Мясо сварили ещё вчера, сверху на нём был кое-где прозрачный студень из застывшего густого бульона. Гэла шёл домой и по дороге обсасывал этот студень. Мясное желе во рту растворялось и оставляло вкус счастья, вкус густого говяжьего бульона с ароматными приправами.

Только из-за этих кусочков студня Гэла не съел всё мясо по дороге. Его матери тоже досталось немного этого счастья.

3

Большой кусок варёного мяса и воспоминания о последовавшем счастье подталкивали Гэлу каждый день несколько раз проходить мимо этой изгороди и двора за ней. Наконец настал день, и Эсицзян появилась на дворе.

Она тихо сидела на жёлто-золотой соломе, держа на руках младенца. Старуха раскачивалась, превратив себя в колышущуюся колыбель, в колыбели был этот бесконечно счастливый младенец.

Старуха подняла голову, наконец её глаза оторвались от ребёнка и остановились на Гэле. Гэла изобразил приятную улыбку, но взгляд старухи ушёл, она снова глядела на младенца. Она вытащила из-за пазухи комочек топлёного масла, отцепила ногтями от него кусочек, положила в рот, растопила, стала потихоньку намазывать ребёнку лоб. Она смазывала лоб младенца маслом и бормотала нараспев, с бесконечной жалостью и любовью: «М-м... м-м... цэ-цэ... хэ... хэ-хэ...»

Гэла открыл калитку во двор и вошёл, приблизился. Старуха продолжала напевать себе под нос.

Взгляд Гэлы остановился на куске топлёного масла, который она положила рядом с собой. Масло таяло на солнце, под ним на соломе было маленькое влажное пятно, от пропитавшейся маслом соломы шёл восхитительный аромат.

Гэла протянул руку очень быстро, и когда старуха снова собиралась отщипнуть масла, он уже этот кусок повертел во рту много раз, а потом, вытянув шею, шумно проглотил.

Старуха, когда тянулась за маслом, только руку протянула, а взгляд был по-прежнему на сияющем масляным блеском лобике, на личике крутившего глазами младенца.

Старуха сказала сама себе: «Странно, масла нет».

В это время Гэла уже, пригнувшись, был с другой стороны изгороди.

Гэла, не выдержав, с ещё полным топлёным маслом ртом, засмеялся гогочущим смехом. Старуха была глуховата, не расслышала детского смеха. Но он испугал сидевшую на изгороди ворону. Ворона каркнула и, шумно захлопав крыльями, улетела. Старуха сказала младенцу: «М-м... Это ворона масло украла...»

Когда Гэла снова вошёл во двор, старуха сказала Гэле:

– Ворона украла топлёное масло...

Старуха ещё сказала:

– Подойди, посмотри на нашего Зайчика...

Гэла протянул руку, только коснулся пальцем лобика младенца, только что намазанного топлёным маслом, и тут же быстро отдернул руку, словно обжёгшись.

Он никогда раньше не касался ничего такого гладкого и нежного. Жизнь груба, но кое-где в ней есть такие невообразимо нежные вещи, что этот трёхлетний ребёнок, руки которого уже привыкли касаться грубого, испугался и вздрогнул от этого незнакомого ощущения.

Старуха засмеялась, потянула Гэлу за палец и вложила палец в ручку младенца; гладкая, нежная ручка крепко ухватила этот палец. Гэла не знал, что такое ручка младенца, не знал, как крепко она сжимает, какая она тёплая. Ему была непривычна такая мягкость и тепло. Он с силой выдернул свой палец.

Младенец заплакал. Он плакал, будто жалобно мяукал котёнок.

– Скорей дай ему руку, смотри как наш Зайчик любит тебя!

Гэла был дикий ребёнок, не выдержал, что его так любят, и убежал, как улетает струйка дыма.

Этой зимой, а потом ещё пришедшей за ней следом весной, летом и осенью он больше не входил в этот двор.

Когда он в следующий раз пришёл сюда, был уже конец следующей зимы. Потом ещё прошла зима, Гэла стал старше ещё на один год.

Как и раньше, проходя мимо дома Эньбо, Гэла смотрел на двор и невольно ускорял шаги. Это хорошо, говорил он себе, что старой бабушки нет на дворе, и только начавшего ходить, спотыкаясь и падая, Зайца тоже нет.

Он с облегчением вздохнул и пошёл спокойней, но нога его наткнулась на что-то мягкое. Нога невольно отёрнулась, как от огня. На земле сидел Заяц, разинув рот и глупо ему улыбаясь. Он только собрался сделать ноги, как старая бабушка словно из-под земли появилась откуда-то на дворе, с тревожным лицом:

– Ах ты, беспризорник, зачем убегаешь неизвестно куда со двора с нашим Зайчиком?

Тут пришла очередь и Гэле так же глупо разинуть рот. Как это только что научившийся ходить ребёнок может убежать, да ещё с ним, беспризорником? Кто же из взрослых в деревне позволит своему ребёнку убежать с дикарём неизвестно куда?

Старая бабушка быстро сменила выражение лица и улыбнулась доброй улыбкой:

– Ладно, ну что ты застыл? Веди братика обратно.

Заяц первый протянул маленькую ручку, Гэла с сомнением взял её в свою. Ручка была очень мягкая, но уже не такая мягкая, как в первый раз, а самое главное, она была уже не тёплая, как в прошлый раз, а вся ледяная.

Гэла услышал, как из его собственного горла донеслись звуки ещё мягче этой маленькой ручки: «Пойдём, братик, пошли... Зайчик, братишка...»

В этот день во дворе дома Эньбо старая бабушка дала ему маленький кусочек сыра.

Скоро пришла весна, очень быстро и она прошла. К лету Гэла и правда почувствовал, будто Заяц – это его младший брат. Заяц рос быстро. Вместе с Гэлой бегал по всему селу. В первый раз, когда Гэла вывел Зайца со двора, старая бабушка тревожно говорила: «Гэла! Ты зачем Зайчика так далеко уводишь?»

Гэла тут же привёл Зайца обратно.

Старая бабушка быстро согнала с лица беспокойство и помахала им рукой, говоря: «Идите, идите!»

Выходишь со двора и сразу попадаешь в село. Пройдёшь узким кривым петляющим переулком мимо заборов двух-трёх чужих дворов, и вдруг попадаешь на простор – это сельская площадь.

Дом Гэлы – это пристройка из двух комнат, примыкающая к сплошной стене склада производственной бригады, дверь выходит как раз на площадь, не так, как у других, где есть и дом, и двор, и не из берёзовых палок забор, а изгородь из туго переплетённых прутьев ивняка.

Скоро полдень, в селе очень тихо, коровы и овцы наверху в горах, взрослые в поле, только Сандан без дела, прислонилась к дверной притолоке и сидит, как в забытии, под солнечными лучами у входа. Увидев, что Гэла ведёт за руку Зайца, Сандан оживилась, глаза засветились, но даже теперь она только лениво помахала рукой.

Гэла подвёл Зайца к матери. Сандан обняла его и стала целовать, страстно постанывая. Она говорила:

– Ах, дай же я на тебя посмотрю, моя куколка... Ах, дай же я тебя расцелую, моя деточка...

Нацеловавшись, Сандан снова стала усталой и сонной, махнула рукой:

– Эй, Гэла, забери ребёнка.

Гэла спросил мать:

– Мама, все на поле, а почему ты не идёшь работать?

Сандан пристально в упор посмотрела на сына, потом глаза её постепенно заволокло, появилась растерянность и недоумение, словно она сама тоже не могла ответить на этот очень сложный вопрос.

Гэла в первый раз задал своей матери такой вопрос. Этот вопрос очень давно был у него в груди и в этот раз наконец он слетел с языка. Гэла знал – если мать станет работать в поле, то люди в селе будут к ним двоим относиться ещё лучше, если мама будет так же, как сельчане, работать в поле, то производственная бригада даст им больше зерна, может быть, даст ещё говядины, баранины, топлёного масла. . .

Все эти выдачи происходили у ворот склада, то есть прямо перед входом в их с матерью дом, не отгороженный даже плетнём. Зерно, которое производственная бригада им выделяла, давали просто из общей жалости всех сельчан, а мечтать о том, чтобы выделяли ещё и мясо с маслом, им с матерью совершенно не приходилось.

Через какое-то время Гэла стал уходить с Зайцем всё дальше и дальше, на склон горы позади села, на луг у леса, есть раннюю дикую землянику.

Когда они оба наелись земляники, Гэла спросил:

– Что, Заяц, весело с братом Гэлой?

Заяц выпучил большие глаза, вытянул тонкую шею и кивнул.

С самого рождения Заяц рос худым и слабым.

Дети в Счастливой деревне обычно были крепкие и здоровые, а даже если и рождались худенькие и слабенькие, то просто ели побольше и быстро становились упитанными и сильными. Но не Заяц. Он если ел чуть больше обычного, то у него тут же всё и выходило. Заяц вообще был болезненный, вечно был вялый, унылый. Говорил он тоже тихо и тонким голосом, как очень стеснительная девочка.

Гэла сказал:

– Тогда я всегда буду тебя с собой брать.

Тогда и Заяц тихим тоненьким голоском сказал:

– Я хочу, чтобы брат Гэла всегда брал меня с собой.

Заяц немного устал, они оба улеглись на траве отдохнуть.

Два маленьких человечка легли, и трава поднялась и скрыла их, качаясь на ветру над их головами. Выше ветра было очень глубокое небо, кое-где по нему не спеша плыли облачка, словно клочки промытой и пышно взбитой овечьей шерсти. По стеблям колышущейся травы вверх-вниз сновали бесчисленные букашки. Муравьи, торопливо добежав до верхушки стебелька, где дальше дороги не было, вытягивали свои дрожащие усики в пустоту, пытались нащупать опору, потом разворачивались и по стеблю спускались обратно на землю. Божья коровка с красивой скорлупкой на спинке забиралась на самый верх, вздрагивала, яркая скорлупка превращалась в лёгкие изящные крылышки. С одной травинки она перелетала на другую травинку, с одного цветка на другой цветок. Внизу на стеблях травы сидели толстые жирные кузнечики, над травой парили лёгкие, изящные стрекозы.

Гэла сказал Зайцу:

– Закрой глаза, хорошо отдохнуть можно, только когда закроешь глаза.

– Я хочу отдохнуть, только я не хочу закрывать глаза. – Тонкая кожа на лбу у Зайца сморщилась, и на лице появилось часто бывающее у взрослых выражение сомнения и тревоги. – Но я устал, у меня сердце очень устало. Взрослые говорят, я долго не проживу.

Когда Заяц умер, Гэла потом всё время вспоминал, как Заяц в тот день говорил совсем как взрослый. Но он был тогда всего лишь трёхлетний ребёнок.

С этого дня определилось, каким будет Заяц; он рос ребёнком с быстро утомляющимся, как у стариков, сердцем, с тонкой длинной шеей, с рыбьими выпученными глазами.

Откуда-то из глубины стало всплывать чувство жалости: это ощущение поднималось, поднималось, ударило в лоб, отразилось, развернулось, пошло обратно вниз; у Гэлы глаза стали влажные, в носу защипало. Он раскрыл ладони – одна слева, одна справа, прикрыл глаза Зайцу, сказал:

– Дружок, ты отдыхай, это то же самое, как если бы ты закрыл глаза.

Потом его тон из приказного стал умоляющим:

– Давай будем с тобой дружить... У меня нет друзей и у тебя нет друзей...

Заяц тонко отвечал:

– Хорошо, давай дружить...

Гэла сам разволновался; гордо ведя за собой Зайца, вошёл в село и сразу же громко закричал прислонившейся у двери матери:

– Мама! Мы с братиком Зайцем теперь друзья!

Сандан обняла Зайца и стала яростно его целовать:

– Как хорошо, как хорошо! У моего Гэлы есть друг, есть братишка...

У Зайца в глазах появился испуг, он изо всех сил стал болтать ножками, пытаясь вырваться из объятий женщины. Но, конечно же, высвободиться у него не получилось, поэтому он широко разинул рот и заревел в голос. Этот ребёнок с пульсирующей постоянно на виске тёмной веной говорил тоненьким и тихим голоском, но плакал громко, хрипло, словно голо-систая ворона.

Как только Сандан разжала руки, Заяц сразу же выскользнул из них, но ловкий и быстрый Гэла бросился вперёд и подхватил его, а то он упал бы на землю. Вена у него на виске задёргалась ещё сильнее, как будто она вот-вот прорвётся сквозь тонкую прозрачную кожу, и Гэле стало страшно, он стал говорить умоляюще:

– Прошу тебя, не надо плакать, не надо плакать, если ты не хочешь, чтобы мы умерли, ты не должен плакать!

Ребёнок понемногу затих, перестал вопить, но продолжал негромко всхлипывать, вздрагивая, как будто, выдохнув, не мог набрать воздуха.

Синяя вена вздулась ещё больше, извиваясь под мертвенно-бледной кожей, словно ужасный червяк. При каждом затруднённом вздохе ребёнка этот червяк начинал шевелиться, и каждый раз казалось, что он сейчас прорвётся сквозь эту тонкую кожу.

Теперь Гэла по-настоящему испугался. Если этот червяк прорвёт кожу, тогда точно всё кончено. Его ноги обмякли, он опустил колени на землю, обеими руками охватил лицо ребёнка, одновременно умоляя его и непрерывно целуя этого червяка.

И в этот момент его драгоценная мать вдруг рассмеялась дурацким смехом.

Заяц наконец успокоился, Сандан пошарила в доме и достала всё, что можно дать ребёнку, набила Зайцу полный рот. Сандан громко смеялась, Заяц тоже стал хохотать.

А Гэла почувствовал слабость во всём теле, прислонился спиной к косяку и стоял, не двигаясь. Он понимал только то, что этот слабенький ребёнок его испугал. Он больше не хотел никак с ним соприкасаться.

Взрослые пришли с поля после работы, а Заяц ещё не возвращался домой. Бабушка Эсиц-зян спала, привалившись к стене. Эньбо растормошил её, у старухи на лице выступил испуг: «Ребёнок, где ребёнок?»

Тогда Эньбо, отец Зайца, и мать, Лэр Цзинцо, и дедушка Цзянцунь Гунбу – все выбежали со двора, побежали на площадь. Лэр Цзинцо так звала Зайца, как будто этот ребёнок уже умер, и родственники оплакивают его душу. Очень скоро к этой команде, разыскивающей ребёнка, присоединились дальние тётки Зайца и дядя. Сандан с Зайцем на руках вышла из дома и, радостно улыбаясь бегущим ей навстречу членам семьи, сказала:

– Когда у вас взрослые будут на поле, оставляйте его у нас дома, это такой забавный малыш!

Ответа она не получила, ребёнка просто одним махом вырвали у неё из рук.

Потом вся большая семья сгрудилась вокруг этого худенького, слабенького ребёночка, и они ушли.

Опустились сумерки, в воздухе над селом низко пополз дым от очагов. Сандан одиноко стояла на площади. Подул лёгкий ветер, неся мелкую пыль, нося её по площади то туда, то сюда.

Вечерняя заря в небе была особенно яркой и красивой.

Сандан вернулась в дом, на лице её ещё была неугасшая улыбка. Она радостно сказала:

– Гэла, завтра приводи к нам Зайца пораньше!

Гэла молчал.

Сандан достала подогретую на печи лепёшку, налила полную пиалу чая:

– Сынок, пора ужинать!

– Мама, отстань, я не хочу есть.

Сандан принялась за еду, ела с заметно бóльшим аппетитом, чем обычно. Пока ела, всё повторяла, что такой забавный этот ребёночек, такой забавный...

Гэла сам себя уговаривал, что нельзя обижаться на глупую мать. Однако её пустая бездумная болтовня, неумение понять настрой других людей, то, как она не видит, что горы высоки, а воды глубоки – это всё действительно злило её единственного сына. Но Гэла знал также, что со дня, когда он появился на свет, ему определено на всю жизнь быть связанным с этой женщиной, которую все в Счастливой деревне или не принимают всерьёз, или презирают. Поэтому, когда было уже совсем невтерпёж, он говорил только:

– Мама, ты лучше кушай, не надо больше говорить о чужих делах.

Сандан с полным ртом, с раздувшимися щеками всё ещё жевала большой кусок лепёшки; услышав сына, она стала жевать быстрее, потом, выпучив свои красивые, но замутнённые глаза, вытянула шею и с усилием проглотила. Она раскрыла рот, собираясь заговорить, а вместо того звучно икнула. Прямо в лицо Гэлы ударило горячей кисловатой отрыжкой, его чуть не вырвало.

Гэла родился и вырос в нищете и грязи, но к запахам был очень чувствителен. От этого его часто мучило – из-за запахов, которые шли от тела Сандан, из-за разных запахов Счастливой деревни; мучило до того, что часто он не мог сдержаться, его тошнило, и тогда он убегал куда-нибудь, где никто этого не видел.

Бабушка Зайца смотрела на это его непонятное состояние и, вздыхая, говорила другим, что этому ребёнку жизнь будет короткая.

Она говорила, что в другом месте такого ребёнка считали бы даром небесным, «но ведь вы же знаете, что такое наша Счастливая деревня? – это же болото, трясина, а вы видели на болоте высокие прямые деревья? – нет, только мелкие деревца гниют в болоте, знаете? – вот это и есть наша Счастливая деревня» – и никто с бабушкой не спорил. Никто с этим не смел спорить.

Старая бабушка говорила не то, что говорила рабочая группа, не то, что писали в газете и рассказывали в радиоприёмнике. Такие речи старухи заставляли вздыхать некоторых более высоких по их опыту и положению людей, они говорили: «Ох, не к добру говорит такие вещи старая глупая бабушка, не к добру!»

Гэле и его матери не доводилось слышать, что говорят и что обсуждают в общественных кругах села, они жили себе и жили. Гэлу только мучило непонятно от чего, он только всё время

старался гнать прочь неуважительные мысли о Сандан, чтобы она хотя бы дома была более-менее как мать.

Сейчас вот она прямо в лицо Гэле икнула, потом ещё раз, его снова обдало горячей кислотой, и в желудке стало совсем невыносимо. Хорошо ещё, она перестала, наконец. Лепёшка наконец-то провалилась ей внутрь, и она заговорила с совершенно невинным выражением лица:

– Но ведь этот ребёнок и правда такой забавный!

Он не знал, что сказать, но что-то надо было ответить:

– Мама, я не хочу говорить, мне нехорошо. Меня тошнит...

Эта безалаберная женщина покрутила глазами и сказала:

– Ну тогда пусть тебя вытошнит, и тебе станет легче!

Гэла рванулся наружу, согнулся пополам, стал с шумом глотать воздух, кислая волна хлынула вверх, потом отступила, ушла внутрь и там продолжала бурлить, так что сводило зубы. Слёзы подступили к глазам. Чтобы они не полились, Гэла поднял глаза к небу. Звёзды были размытые, блестели сквозь пелену слёз неровными дрожащими пятнами.

В поисках опоры он припал к дверному косяку, глядя на крутящиеся над ним звёзды, а мать продолжала позади него у очага запихивать в рот куски еды. Этой женщине поистине было небом суждено родиться в голодные годы; когда была еда, она могла, не зная усталости и не чувствуя насыщения, есть и есть, а когда ничего не было, то два-три дня не ела ни зёрнышка и даже не вспоминала о том, что людям нужно питаться.

Под чавканье матери Гэла слышал свой внутренний голос: «Я так больше не могу, я хочу умереть».

Он беззвучно повторял про себя эти слова и чувствовал от этих слов даже какую-то радость, а всё село было беззвучно и тихо при свете звёзд, каменные столбы домов чернели в вечернем сумраке.

Гэла знал, что на эту его непонятную тоску в Счастливой деревне не будет никакого отклика, и сейчас он ощущал в себе ненависть к этой Счастливой деревне.

Он ненавидел свою мать, которая из-за далёких гор и вод, неизвестно из каких мест притащилась сюда, вдруг появилась перед людьми этой деревни и родила его, родила в этом чужом равнодушном селе. Он хотел спросить мать, откуда она пришла, ведь, может быть, там люди приветливее, живее, ну как цветы, раскрывающиеся от весеннего тепла, там, на этой неизвестной ему, далёкой родине...

Летняя ночь, он лежит на тёплой нагретой подстилке из овечьей шкуры, словно умирающий старик, думает, что вот, умру я здесь, в Счастливой деревне, на чужбине.

Гэла заснул.

Только после того, как этот стойкий ребёнок уснул, две слезинки из уголков глаз скользнули и упали на изголовье.

Потом он и правда увидел во сне распускающиеся от весеннего тепла цветы, увидел целое поле цветов: жёлтые первоцветы, голубые и синие колокольчики и ирисы, красные цветки земляной сливы – и он носится по этому цветочному полю, а в середине поля стоит, как принцесса, высокая и благородная, в развевающихся на ветру красивых одеждах, со взглядом, прекрасным как воды глубокого озера, его мать Сандан.

Но вдруг он видит, как вся эта картина перед ним вспыхивает мощной световой вспышкой и пропадает, Сандан пронзительно кричит, и он просыпается. Он перебирает, брыкается в воздухе ногами, схваченный поперёк груди чьими-то руками; повисший в воздухе яркий свет электрического фонарика направлен ему прямо в глаза.

Позади мощного пучка света слышен голос сквозь сжатые зубы:

– Мелкий ублюдок, это твоя работа, это всё ты сделал!

Мелкий ублюдок,
мелкий ублюдок,
мелкий ублюдок,
мелкий ублюдок!
Мелкий ублюдок!!!

Гэла окончательно проснулся, он слышит, что это голос отца Зайца, Эньбо, голос этого вернувшегося в мир монаха.

Он не помнит себя от страха:

– Я не мелкий ублюдок, да-да, это я мелкий ублюдок, дядечка, отпустите меня!

Но тот голос вдруг резко взвывается:

– Я убью тебя!

Барабанные перепонки в ушах Гэлы готовы разорваться от этого резонирующего сумасшедшего крика, но тут слышен ещё более истерический вопль:

– Нет! – и Сандан бросается к ним, словно бешеная львица, и валит наземь и человека, который держит Гэлу, и Гэлу вместе с ним. Электрический фонарик отлетает в сторону и освещает очень много ног, а мать с рыданиями прижимает голову Гэлы к своей груди, он чувствует мягкую грудь матери:

– Мой сын, Гэла, это ты, сынок мой!

Гэла прижимается к материнской груди:

– Мама, это я, я здесь.

Зажётся ещё один фонарик, он бьёт светом прямо в мать и сына, лежащих на земле, и на задыхающегося от гнева монаха, вернувшегося в мир.

– Никто не смеет тронуть моего сына! – истерическим громким голосом кричит Сандан, но люди видят её освещённую фонариком голую грудь и начинают громко хохотать, а Гэла никак не может прийти в себя от испуга, прижимается к матери.

Но эти люди растаскивают мать и сына.

4

В эту ночь огромное колесо луны висело высоко в небе, смутные очертания гор возвышались вдаль. Этой ночью обычно тихая Счастливая деревня сошла с ума. Всё село, мужчины и женщины, старики и дети – все пробудились от сна и заполнили площадь. Толпа взрослых мужчин бешено толкала Гэлу, маленького, испуганного и ничего не соображающего ребёнка, прочь из деревни; электрические фонарики в их руках выплёвывали столбы света, пронзающие черноту ночи; мелькавшие и справа и слева, при ярком свете луны были ещё люди с горящими факелами.

Гэла медленно шёл, спотыкаясь, замедляя шаги, множество рук грубо толкало его в спину. Иногда он падал, но его тут же поднимали за шиворот:

– Мелкий ублюдок! Вон отсюда!

Сзади поднимался многоголосый рокот; все возможные адресованные ему слова – маленький вредитель, мелкий червяк, ничтожество, чертёнок – вылетали как плевки изо ртов и с грохотом разрывались в его голове; перед глазами Гэлы мелькали одно за другим лица людей Счастливой деревни, впереди всех – мальчишки чуть постарше, чем он: Ага из дома Кэцзи, брата Ванцинъ, сын Лоу Дунчжу с заячьей губой. Конечно, были ещё голоса их отцов и старших братьев, исполнявших роли самого разного начальства в селе. Столько бешеных криков, столько тяжёлых грубых рук, и все толкали его прочь из деревни в дикое поле.

Гэла вдруг вспомнился фильм, который несколько дней назад привозила кинобригада коммуны, где какого-то бородатого негодяя вот так же яростно выпихивала из деревни людская толпа, чтобы «физически ликвидировать»; он обернулся, обхватил ногу самого разъярённого – отца Зайца:

– А мама? Мама Сандан, спаси меня!

Но он не услышал голоса матери.

В людской толпе взорвался холодный жестокий хохот, рука Эньбо подняла малыша:

– Тебя никто не убивает, зайчишка! Говори, куда ты днём водил нашего Зайца?

Только теперь Гэла узнал, что Заяц сейчас лежит в своей кроватке, плачет и повторяет всякую чушь, говорит, будто фея цветов ему сказала, что среди людей очень плохо, что она заберёт его на небо. Маленький Заяц ещё сказал, что сам он спустился с неба и теперь хочет вернуться обратно на прекрасное небо. Взрослые подумали, что это, конечно же, дикарь Гэла, при матери, но без отца, таскал его в дикое поле, и там от каких-нибудь цветов нашло на него это наваждение.

И все люди села заволновались за одну маленькую жизнь. В эту эпоху борьбы с суевериями, искоренения предрассудков всё искоренённое вдруг разом ожило в лунном свете этой ясной ночи. Все феи гор и духи вод, все легенды о привидениях и нечистой силе в один миг разом ожили. Активисты, солдаты народного ополчения, комсомольцы и кадровые работники производственных бригад – в это мгновение все оказались во власти тех верований, той атмосферы, что властвовала на селе в прежние времена; сопереживание бедному маленькому ребёнку сделало их безумными.

Эньбо размахивал фонариком, тыча режущим глаза светом, требовал:

– Говори! Вы видели эти цветы? Громче, собачье отродье! Мне не слышно!

Электрический свет уткнулся в пучок гиацинтов, Гэла сквозь рыдания сказал: «Да».

Однолепестковые, красные, белые гиацинты тут же были втоптаны в грязь стадом ног.

Луч фонаря ткнул и осветил дикие лилии, Гэла, рыдая, сказал: «Да».

Прекрасные лилии, похожие на тянущиеся к небу горны, были в месиво растоптаны ногами толпы.

Были ещё одуванчики, были кукушкины слёзки, ещё были голубые маки с прекрасными, словно шёлковыми, лепестками; вся эта живая красота, колышущаяся под ветром на нетронутых диких летних лугах, – все были растоптаны в жижу, потому что, как говорят, имеют чарующую людей силу и служат пристанищем для цветочных фей.

Гэла плакал, он снова обхватил ноги Эньбо:

– Дядечка, скажите цветочным феям, чтобы не забирали Зайца, пусть лучше они меня заберут...

Эньбо вроде бы засомневался, но люди всё подбадривали его, и он с силой выдернул одну ногу, с криком «пшёл!» стряхнул с другой этого надоедливое ребёнка. И продолжал бумажными амулетами укрощать цветочных духов, которые, может быть, ещё оставались в растоптанной грязи...

Потом все – так же непонятно, как собрались вместе, – вдруг рассеялись, разошлись.

После, как бы Гэла ни вспоминал эту ночь, ему всё казалось, что это были не люди, а бесы, настолько внезапно они тогда исчезли. Остался он один, испуганный, дрожащий, весь избитый, валяющийся за селом на старательно вытоптанном лугу; кругом потихоньку догорали и гасли огрызки факелов; висевшие в воздухе дым и копоть рассеялись.

Гэла лежал на земле, а вокруг было непередаваемо тихо, и в эту минуту ему и правда поверилось, что на свете действительно есть духи цветов, но в то же время он знал, что такого прекрасного волшебства в этом мире быть совершенно не может. Этот мир, в котором человеку жить тошно, не годится для волшебников; как бы ни были добры и терпеливы феи и духи, они не смогли бы в таком жить.

Млечный Путь плавно струится по небу, тёмно-синяя бездна бесконечно глубока. Сколько мест на земле, и все под одним и тем же прекрасным небесным простором... Где-то люди живут спокойно и весело, счастливо и ладно... Где-то, словно свора собак, рвут и терзают друг друга... Почему?..

Гэла поднялся, выплюнул изо рта землю, выругался: «Ублюдок!» – и, подражая тем молодым из села, у которых безупречное происхождение, которые составляют костяк кадров, опору народного ополчения и комсомола молодым людям, размашисто, раскачиваясь маятником из стороны в сторону, пошёл в сторону села. Прошёл немного, почувствовал, что не может так идти – надменно, напролом – и снова выругал себя: «Мелкий ублюдок!» – и пошёл дальше своей обычной походкой.

Скрипнув, отворилась единственная никогда не запиравшаяся во всей Счастливой деревне дверь, лунный свет вслед за ним проскользнул в дом. Этот дом казался необжитым и заброшенным, даже когда в нём кто-нибудь был.

А теперь в нём никого не было, и он стал совсем пустым и холодным. Гэла повалился на подстилку из овечьей шкуры в углу у стены и посмотрел в другой угол.

Скомканное в грудку одеяло было словно сжавшаяся в комок человеческая фигура с опущенными плечами и склонившейся головой, а вообще-то оно должно было сейчас быть расправленным, это одеяло, быть плотно обёрнутым вокруг тела несчастной женщины. Видя, как мать весной и летом, зимой и осенью всегда одинаково укутывается в одеяло, Гэла понимал, что она боится замёрзнуть, но только теперь он так остро почувствовал, насколько же она несчастна.

В эту сырую, промозглую ночь бедной женщины не было в доме – значит, она тоже была напугана и пошла бродить где-то снаружи. Раньше Гэла переполюшился бы. Однако после череды сегодняшних событий его сердце одеревенело. Он чувствовал только усталость; развернув одеяло, он натянул его на себя сверху и тут же уснул.

Утром, когда он пробудился, чувство тупого онемения не уменьшилось ни на сколько.

Некому было сварить чай; он сам разгрёб золу в очаге посреди комнаты: под серым холодным пеплом было несколько тёмно-красных тлеющих угольков – он водрузил над ними грудку щепок, долго дул с остервенением, пока не потянулись вверх дрожащие язычки огня. Тогда Гэла добавил веток потолще, и в очаге затрещало, зашумело пламя, по комнате пошёл аромат чая и цапмы.

Наевшись, Гэла стал пить чай, потом дождался, пока огонь в очаге понемногу угас и остались только несколько насквозь красных угольков, и только тогда укрыл эти угольки толстым слоем золы. Гэла выпрямился и вышел наружу. Дверь он прикрыл, накинув петлю из железной проволоки на палку, просунутую в дыру, где должен быть замок, – вроде как запер дверь, – и пошёл из села.

Проходя мимо изгороди дома Эньбо, он видел, что над крышей поднимается бледный сизый дым, что на дворе никого нет, что яблони покрыты сверкающими жемчужинами росы.

Гэла шёл дальше вперёд, кое-где во дворах женщины уже доили коров. Ничего этого Гэла не видел; издали заметив людей, он опускал голову, чтобы избежать их взглядов. Но он слышал, как из-под их рук сильно, шумно бьют в ведра струи свежего молока. Он чувствовал сладкий медовый и слегка отдающий сырой вонью аромат парного молока. Гэла прошёл сквозь дурманящий молочный запах и пошёл дальше.

Гэла прошёл мимо ещё одного двора: здесь на участке при доме посадили репу, цветов на участке не было, но было несколько ранних пчёл, с жужжанием летавших взад и вперёд. Гэле вспомнились пчелиные дома, такие чистые и аккуратные, и он слегка улыбнулся.

Потом он дошёл до окружённого старыми кипарисовыми деревьями родника; там людей не было, только сверкающая прозрачная вода дрожала и сверкала в густой тени деревьев; Гэла почувствовал, как холодок обволакивает его, и ускорил шаг. Миновав источник, он вышел из густой тени старых кипарисов. Это значит, он вышел уже из Счастливой деревни.

Широкая дорога разворачивалась перед ним в ярком солнечном свете и уходила дальше, вглубь горной долины.

Совершенно не готовый к этому, Гэла ушёл из Счастливой деревни и отправился в далёкий путь. В этот день никто из людей ему не встретился. Поэтому, когда около полудня на дереве, мимо которого он шёл, не переставая тараторила какая-то птица, он решил, что она уговаривает его вернуться в Счастливую деревню, и впервые за день заговорил:

– Нет, я не вернусь, моей мамы там нет, мне надо найти мою маму.

Сказав это, он наконец ясно понял, что и правда не видел матери со вчерашнего вечера. И горячая слеза покатила по его щеке.

На следующей развилке ему встретилась бродячая собака, и Гэла сказал собаке:

– Счастливая деревня – это не родина моей мамы, поэтому это и не мой дом; моя мама вернулась туда, откуда она родом, я иду её искать, найду и её, и свою настоящую родину.

Бродячая собака стрельнула глазом в сторону Гэлы и быстрым лёгким бегом направилась в сторону Счастливой деревни. Гэла вздохнул и пошёл дальше, в другую сторону, прочь от Счастливой деревни.

5

В доме Эньбо выздоровел Заяц, бабушка снова выводила его на двор, сидела с ним на пятачке тени под яблонями; после того, как Гэла и его мать разом пропали из Счастливой деревни, уже прошло много дней.

Счастливая деревня такая маленькая, но никто, ни один человек не обратил внимания, что двое бездельников исчезли, не шатаются больше по деревне тут и там. Кто-то, может быть, и заметил, но притворился, что не замечает. Может быть, ещё больше людей заметили, но не издали ни звука. Пропали – ну и пропали. Эти двое со своими недостатками были для Счастливой деревни как два зеркала, все в этих зеркалах видели свои собственные недостатки.

Когда Заяц выздоровел, у Эньбо, да и вообще в доме Эньбо, настроение было подавленное; он, собственно ведь, в прошлом ушёл из дома, и если бы не обстоятельства, то и теперь так бы и оставался в монастыре, посвятив душу Будде. Теперь монастырь развалили, и золочёную статую Будды тоже разломали.

В тот день, когда ломали Будду, уже вернувшихся в мир монахов в последний раз снова позвали в монастырь, поставили вместе с теми упрямыми из монахов, которые ещё там оставались, на площади перед монастырём. Стену большого зала повалили, золотая статуя Пришедшего будды – Жулая – вся была в пыли и грязи, пошёл дождь, всё сильнее и сильнее, и падающая сверху дождевая вода стекала вниз, оставляя дорожки, смывая пыль и грязь; круглое, как луна, лицо Прародителя Будды всё вдоль и поперёк было покрыто бороздками.

Огромная сеть верёвок была опутана вокруг шеи Прародителя Будды, длинные верёвки тянулись на площадь в руки к вернувшимся в мир, но ещё не ушедшим в мир монахам; были люди, махавшие красными флажками, дудевшие в железные свистки, которые они держали во рту. В этот раз монахи не были усердными. Грязное изваяние Будды по-прежнему сидело на ещё более грязном Лotosовом троне. Ламу в красном вытащили из толпы монахов, он был в наручниках, его сторожили народные ополченцы. У солдат, стоявших перед джипами с винтовками на плечах, было строгое, торжественное выражение на лицах.

Снова заматались флажки, засвистели свистки, монахи испустили тоскливый вопль, верёвки вокруг шеи статуи Будды натянулись, монахи снова надрывно закричали, напрягаясь изо всех сил, статуя несколько раз качнулась и с грохотом опрокинулась. Столбом поднялась пыль, словно клубы дыма от загашенного костра, но очень скоро её прибил мелкий морозящий дождь. Статуя раскололась, развалилась, стали видны внутри глина и перемешанная с глиной трава.

Монахи сидели на земле под дождём, начал кто-то один, и сразу же все, подхватив, отчаянно зарыдали в полный голос. Говорят, тот лама в наручниках очень рассердился, оттого рассердился, что эти люди пришли в такое отчаяние. Но это всего лишь слова, которые передают один другому. Потому что никто больше никогда не видел этого ламу.

Всякий раз, когда Эньбо вспоминал события того дня, в душе появлялось странное ощущение, особенно когда он вспоминал, как толпа монахов сидела на земле под дождём и рыдала, словно женщины; на сердце становилось очень неприятно. Изваяние повалили – ну и повалили: горы не обрушились и земля не треснула. Монах, которым был Эньбо, потихоньку умирал день за днём, рождённый для мирского, трудолюбивый, усердный Эньбо рос в нём день ото дня.

Однако случился тот вечер, и неприятное чувство неловкости в душе снова вернулось. Это ощущение неловкости, такое же, как то, прежде испытанное под холодным дождём, сидя на земле в грязи и рыдая, кривя рот, как бабы рыдают по своему умершему близкому родственнику, было даже чем-то немного приятным.

Прежде все считали, что эти мать и сын, взявшиеся неизвестно откуда в Счастливой деревне, – это хорошо. Жизнь такая трудная и нищенская, но в сравнении с этими двумя жалкими и несчастными вроде как чувствуешь себя намного лучше. Все их презирали, но по тому, как относились к этим двоим, Счастливая деревня для себя делила людей на высших и низших. Потому что в семье Эньбо было двое вернувшихся к мирской жизни монахов, и ещё была добрая старая бабушка, была красивая Лэр Цзинпо, и к этому прибавить, что эта семья никогда не обижала Гэлу и его мать, – по всему этому, говоря языком Чжан Лосана, «эта семья хорошая, на весах людей Счастливой деревни вполне даже себе достойная».

Слыша эти его слова, люди говорили: «Смотри-ка, опять он про своё любимое сокровище».

И правда, Чжан Лосан раньше был в Счастливой деревне единственный человек, кто имел весы – ручной безмен. Благодаря этому безмену он в Счастливой деревне занимал очень высокое положение. Но потом стала народная коммуна. Первое, что сделала народная коммуна, был склад, а в складе повесили два совершенно новеньких безмена, большой и маленький. Значение Чжан Лосана в Счастливой деревне стало после этого уменьшаться. Но он всё ещё часто приводил свой драгоценный безмен в качестве примера. А в отношении семьи Эньбо его пример был для людей Счастливой деревни самым что ни на есть подходящим и понятным.

Эньбо знал, что уже никогда не вернётся в монастырь, и старался изо всех сил привести в равновесие свои внутренние весы, чтобы жить дальше. Однако взрыв бешенства по отношению к Гэле в тот день вывел его весы из равновесия. Как можно было так вести себя по отношению к этому бедняге?

В конце концов кто-то заметил, что после той сумасшедшей бесноватой ночи и Гэла и его мать исчезли из Счастливой деревни без звука и следа. Счастливая деревня такая маленькая, дни в Счастливой деревне настолько пустые. Поэтому слухи и сплетни разлетаются со скоростью молнии, озаряя мрак будней, оживляя блёклое существование. Тем более, что исчезновение этих двоих не было сплетней, это был факт.

От первого, кто обнаружил, до последнего, кто узнал, прошло не больше половины дня. Безмен в душе Эньбо рухнул вниз и ещё вниз и в конце концов стукнулся в самое дно, отчего всё внутри у него вздрогнуло и пронзилось болью.

Пересуды не прекращались в Счастливой деревне, крутились вокруг всех причастных к этому делу. Людская болтовня ходила вокруг да около, словно вихрь, кружащий по равнине. Этот вихрь не трогал участников события. Но Эньбо знал наверняка, что все обсуждают именно его. Людские взгляды всё чаще и дольше с особым значением останавливались именно на нём. Эти взгляды утверждали без всяких сомнений, что именно он, большой, сильный мужчина, прогнал нищих, беспомощных мать и сына, и Эньбо трудно было смотреть людям в глаза.

Он в одиночку пошёл на площадь, в домишко, где жили мать с сыном. На двери не было замка. Вместо засова была воткнута сухая палка. Его рука не нашла задвижки, палка выскользнула и полетела на землю. С жалобным писком отворилась дверь, словно наступили кошке на лапу. В доме было холодно и пусто. В очаге остывшие угли покрыты серым пеплом.

Вернувшись к себе, он долго протяжно вздыхал. Только когда он прижимал к груди больного, слабого Зайца, тогда только на душе становилось чуть легче. Он поцеловал сына, вдруг посерьёзней и сказал жене:

– Испеки лепёшек, испеки побольше, мне надо идти, может быть, далеко.

Его дядя сказал:

– Ступай, ученики Будды должны быть в ответе за всё живое. Будда, когда был в пыльном мире, принимал на себя беды всего живого.

Эньбо сказал:

– В бедах и грехах живых есть и моя вина.

Жена внешне спокойно замесила тесто, раскалила сковороду, пекла лепёшки одну за другой. И только когда пришла пора ложиться, женские слёзы полились ручьём; всхлипывая, она прижалась к груди мужа и плакала. Доплавав, снова встала и пекла лепёшки.

Утром, как только рассвело, он забросил на спину большую котомку с сухими лепёшками и отправился в путь. В первый день он прошёл три села. Во второй день прошёл высокогорное пастбище. На третий день были лесозаготовки, где было полно ханьцев. В начале пятого дня он уже был на границе уезда. Границей была река, на реке, конечно же, был мост, несколько человек, лениво подпиравших перила моста, остановили его. Сначала один в шапке с козырьком, как утиный язык, низко надвинутым на глаза, сказал:

– Эй ты там, стой...

Голос донёсся из-под козырька, судя по всему обращено это было к нему, потому что кроме него на мосту никаких других прохожих не было, но он не видел лица этого человека, поэтому не был уверен, что обращаются к нему. Он продолжал идти дальше. Те несколько человек, подпиравших перила, резво бросились к нему и в один миг скрутили ему руки за спину. Котомка слетела, лепёшки из раскрывшейся котомки одна за другой гулко покатались по еловым доскам.

Испуганный Эньбо резко дёрнулся и вырвался из множества державших его рук. Он помчался на своих крепких ногах на другую сторону моста. За спиной раздался сухой, резкий стальной звук – он знал, что это звук взводимого ружейного затвора. Эньбо остановился. И, как враги в кинофильмах, поднял обе руки вверх. Сзади раздался взрыв хохота. Звуки хохота и топот бегущих ног как шквал настигли и окружили его, мощный кулак тяжело опустился на его переносицу, и его тяжёлое тело повалилось на доски моста.

Много лиц вплотную надвинулось на него сверху, крича одним голосом:

– Ну, будешь ещё бегать?

Он хотел сказать, что не будет бегать. Но из носа сильно текла кровь и не давала говорить.

Это было в начале пятого дня. На десятый день он вернулся в деревню. Он вдруг открыл дверь в дом, вся семья подняла головы и смотрела на него, на их лицах было выражение испуга. Он смущённо улыбнулся и присел на край кана. Жена спросила:

– Лепёшки все съел?

Он сказал:

– Меня задержали, у меня не было документов, без документов ходить нельзя.

Старая бабушка вдруг спросила:

– А твои лепёшки?

– Все укатились с моста, упали в реку.

– Ты упал в реку?

– Лепёшки. Лепёшки покатались и упали в реку. – Потом тихо добавил: – Глухая.

Старая бабушка сказала:

– Ты, когда маленький был, очень часто падал...

Потом мужчины Счастливой деревни часто говорили в шутку: вот, твою мать, собрался в дальний путь... И тут же кто-нибудь другой подхватывал: куда ты, дерьмо собачье? У тебя нет документов! И вся толпа громко смеялась. Не смеялся один Эньбо.

Обычно так шутили у дверей сельской лавки потребкооперации. То, что называлось «потребкооперацией», была просто комнатка, отгороженная в складе производственной бригады, с двумя деревянными створками окошечка, смотревшего на пяточок перед складом.

Заведовал лавкой ханец, Рябой Ян. Рябой Ян в прошлом был мелкий торговец, шатавшийся по сёлам со своим товаром, он торговал нитками-иголками, закупал лекарственное

сырьё и шкурки. У него, как у торговца, всегда были на плече счёты с железными костяшками на железных прутьях. Он тоже был одним из неизвестно откуда пришедших в Счастливую деревню. Люди Счастливой деревни помнили только, что сначала пришёл в деревню он, а следом за ним пришла и Освободительная армия. На этом времена, когда можно было просто так бродить по свету, закончились. Он остался в этой деревне, не ушёл. Не думал, что так и застрянет здесь на вот уже десяток с лишним лет.

Потом коммуна решила сделать в Счастливой деревне потребкооперацию, надо было найти человека, умеющего писать и считать. Сельское начальство склонялось к тому, чтобы назначить вернувшегося к мирской жизни ламу Цзянцунь Гунбу, но тот не хотел. Было два претендента на эту должность. Сначала был имевший единственные на всю деревню весы Чжан Лосан. Это было всем понятно. Тут же появился со своими счётами и Рябой Ян.

В итоге Чжан Лосан проиграл Рябому Яну.

С тех пор каждый месяц Рябой Ян ездил в коммуны на тележке, запряжённой лошадей, возвращался, раскрывались деревянные створки, женщины через окошечко покупали чай, соль, нитки-иголки и всякую всячину. Мужчины сидели кружком и пили водку, которой выдавали по два льяна в месяц.

Раньше люди в селе все сами гнали водку, а теперь всё зерно сдавали в коммуны, собирали на складе, увозили на телегах, а привозили обратно вот только эти по два льяна водки на человека. Столько и домой уносить не имело смысла, поэтому мужики садились здесь же на площади и за один раз всё выпивали.

Вернувшийся в мирскую жизнь бывший монах Эньбо уже нарушил один запрет и женился, так что выпить чуть-чуть, чтобы развеять тоску и взбодриться, было совершенно естественно. После нескольких глотков у него сразу краснело всё лицо, его брови вразлёт поднимались, светлые живые глаза тут же наполнялись красными прожилками и приобретали свирепое выражение. Он становился совсем не похож на последователя Будды. Поначалу этот вид его всех пугал. Но он только бормотал бессмысленные пьяные речи да улыбался ни к тому ни к сему глуповатой улыбкой, и больше ничего.

В этот день как раз был такой пьяный день.

Дожидавшиеся водки мужчины поодиночке приходили, садились наземь и скоро образовали на площади большой круг. Водку налили в эмалированную кружку с нарисованной на ней площадью Тяньаньмэнь, кружка сделала круг и опустела. Счастливая деревня небольшая, всего чуть больше двадцати дворов, то есть получается тридцать-сорок кружек водки. У многих потом вид такой, что им вроде как не хватило. Но для Эньбо десятка глотков уже достаточно, чтобы стать пьяным.

Сидевший раньше по кругу Чжан Лосан, передавая новую кружку ему в руки, предупредил: «Меньше пей, всё равно пьяный будешь». Но он опять улыбнулся во весь рот глупой улыбкой и снова сделал большой глоток.

Чжан Лосан тогда и сказал:

– Вот, твою мать, уже пьяный, а пропустить не можешь?

Эньбо был в тот момент не в духе, тут же согнал с лица улыбку и сказал:

– Ты говори меньше, тогда я меньше выпью.

Чжан Лосан схватил Эньбо за грудки, а Эньбо схватил его.

Кружка прошла по кругу и вернулась, а эти двое так и сидели, оскалив зубы и держа друг друга, глядя друг другу в лицо, не сдвинувшись ни на волосок, только задницами ёрзали, так что углубления в земле образовались. Кругооборот водки остановился, и только тогда все обнаружили, что эти двое выясняют отношения. Но никто не полез их разнимать, потому что если двое действительно хотят подраться, то разнимать их бестолку.

А если не собираются драться, тогда тем более нет нужды их разнимать. Эти двое всё сидели, застыв и напрягшись. И тогда доливавший водку Рябой Ян сказал:

– Ну ладно, ладно. Пейте, пейте. Надо водку пить, веселиться надо...

Рябой Ян был ханец, по-тибетски говорил с забавным акцентом, который у жителей Счастливой деревни был частой темой для шуток.

Чжан Лосан, передразнивая, повторил:

– Лядно-лядно...

А Эньбо тоже, шепелявя, добавил:

– Пити-пити...

Оба разом захохотали и одновременно отпустили друг друга.

Рябой Ян сказал:

– Правильно-правильно, вот это правильно.

Эньбо вдруг округлил глаза:

– Рябой, а почему бы тебе не убраться туда, к себе, откуда пришёл, а?

Рябой как раз мерным черпаком доливал водку по чашкам; услышав это, он замер, рука застыла в воздухе, только что снова начавшие было галдеть мужики снова разом затихли. У Рябого на лице несколько раз дёрнулся мускул, но он быстро взял себя в руки. Он продолжил наливать. Подрагивающими губами он сказал:

– Двадцать восемь цзиней. Нет-нет, двадцать восемь с половиной. Земляки, двадцать восемь с половиной...

Эньбо сам понял, что снова не то сказал, потому что в общем ведь Счастливая деревня гостеприимная, иначе откуда бы в ней были эти не пойми откуда люди.

А Рябой Ян продолжал считать:

– Двадцать девять цзиней, двадцать девять с половиной...

Но все по-прежнему молчали, со всех сторон и так и сяк все глаза удивлённо и напряжённо уставились на сказавшего не то человека. Эньбо чувствовал, что голова его вот-вот лопнет. Если все будут так дальше молча смотреть на него, то он весь лопнет. На самом деле он ещё только начал говорить, и уже пожалел, но всё-таки сказал, словно чёрт какой внутри его так заставил.

Наконец один человек заговорил. Чжан Лосан первый подал голос:

– Сегодня здесь все мужчины Счастливой деревни, вот я и спрашиваю: что, Счастливая деревня больше не принимает тех, кому больше идти некуда? Все знают, мой отец тоже ханец, тоже, как Рябой Ян, пришёл сюда и не захотел уходить...

Все заговорили – нет, нет, к тому же твой отец нам принёс за всю историю Счастливой деревни самые первые и единственные весы...

– Но теперь вот есть люди, которые выгнали Сандан с сыном, а теперь хотят ещё и Рябого Яна прогнать...

Все в один голос сказали: «О-о-о...» Это означало, что сказано было несколько уж слишком.

В этот момент поднялся ветер, закрутил по площади сухую солому и пыль, все засуетились, пригнулись, и каждый сделал движение, как бы прикрывая ладонью чашку в другой руке, хотя на самом деле чашку с водкой держал только один. Все уже были немного пьяны. Ветер стих, и все захохотали, осознав это общее невольное движение. И тут вдруг раздался громкий резкий стук: оказалось, что это в давно нежилом доме Сандан деревянную дверь оторвало от рамы, и она с грохотом упала на землю.

От упавшей двери взлетела пыль, разлетелась солома, людям снова вспомнились давно уже покинувшие Счастливую деревню мать и сын. Вспомнив о них, люди снова все уставились на Эньбо.

Ему захотелось широко раскрыть рот и горько зарыдать. Так зарыдать, чтобы слёзы и сопли лились ручьями, в полный голос, горько прорыдаться, какое было бы облегчение! Но только это ни к чему, все только насмехаться станут. Чашка с водкой дошла до него, он запрокинул голову и всю только что наполненную чашку полностью влил себе в рот. Не успела ещё водка вся упасть в желудок, как Эньбо, словно непрочный стоявший мешок, повалился наземь.

Как только Эньбо свалился, так сразу же не на кого стало сердито смотреть, и тогда вспомнили про совершенно непонятным образом упавшую дверь, а небо уже темнело, солнце село за горы. Вечерний ветер тянул холодком, и кто-то вдруг сказал:

– Это бесы, наверное.

Всем тут же почудилось, что этот холодок пополз по их спинам.

– Эти двое, мать и сын, умерли?

– Их души, что ли, вернулись?

– Тьфу! Умерли, а души сюда вернулись? Потому что мы тут, в Счастливой деревне, их так сильно любили?..

Небо понемногу чернело, на северо-западе, за снежным пиком Аутапи, на нём появилась багровая полоса вечерней зари, но здесь, в горной долине, внизу, ночной сумрак поднимался, словно всё затопляющая вода. Силуэты людей, кружком сидевших на площади, погружались во мрак, и только лица, обращённые вверх, к небу, подсвечивал отблеск далёкого заката. Водку ещё передавали по кругу от одного другому, но эта крепкая жгучая жидкость не могла побороть холод, поднимавшийся вместе с ночным мраком.

А тут ещё кто-то заговорил о бесах. У бесов нет формы, по крайней мере никто из людей никогда их не видел, хотя в этот момент пившие на площади водку мужчины отчётливо почувствовали их присутствие. У этого нет облика, есть только ощущение, будто ледяные когти вместе с холодком медленно ползут вверх по спине.

Рябой Ян разлил последний черпак по чашкам, с шумным грохотом опустил навес над окном лавки сельпо. Потом он сложил руки за спиной и пошёл не спеша прочь, все ещё долго слышали, как позвякивает связка ключей у него в руках.

Чжан Лосан злобно сплюнул наземь:

– Уважаемые, пора по домам, водки больше нет, твою мать, в этой жизни даже водки – и то нет!

Теперь мужчины Счастливой деревни были все не по-обычному серьёзные, медлительные, словно набухшие от воды брёвна. Один за другим они медленно и тяжело подымались, по привычке бросали взгляд на снежный пик и догоравшую за ним на чёрном небе кровавую зарю. Пошатываясь, вразвалку шли по домам.

Чжан Лосан попинал лежавшего на земле Эньбо:

– Малыш, вставай, пора домой!

Но Эньбо спал как убитый и не просыпался, и Чжан Лосан сказал:

– Твою-то мать, ведь выпил чуть-чуть и так пьян, это ж, твою мать, какое счастье...

Он ещё хотел было сказать что-нибудь, но увидел, что все расходятся и некому слушать, а значит, говорить нет смысла, и тоже, шатаясь, пошёл домой.

Эньбо, весь в пыли, по-прежнему крепко спал прямо на земле.

6

Уже почти в полночь, когда домашние начали беспокоиться, Эньбо пришёл домой.

Услышав звук открывающейся калитки, старая Эсицзян, уставившись на невестку, сказала со вздохом:

– Пьяный мужчина домой вернулся, о небо, это женская судьба; сначала ждёшь мужа, потом ждёшь сына, если проживёшь подольше, так, может быть, придётся ждать и внука.

Лежавший на груди бабушки Заяц поднял голову:

– Нет, я не буду пить, я не хочу, чтобы бабушка, мама и моя жена меня ждали.

Бабушка любовно погладила Зайца по голове:

– Э-э, милый мальчик, ты говоришь, не будешь пить водку, но это только если ты не вырастешь. А если вырастешь, то будешь, такая у мужчин судьба.

Лэр Цзинцо перебила:

– Ох, мама, не надо ребёнку говорить такие вещи...

В это время послышались тяжёлые мужские шаги, поднимавшиеся по лестнице наверх, но бабушка всё равно продолжала:

– Не надо меня учить, не надо меня учить! У них, мужчин, своя судьба, точно так же как у нас, бедных женщин, тоже своя судьба. Запомни, они, мужчины, такие же несчастные, как и мы...

В этот момент всё время вроде как слышавший, но не слушавший эти рассуждения, а только сосредоточенно перебиравший чётки Цзянцунь Гунбу тяжело застонал: «О-о-о!» – и вечно прикрытые его веки поднялись, и все посмотрели туда, куда смотрел он – на лестницу.

Там показалось поднимающееся в проёме лестницы грязное от пыли и собственной блевоты лицо Эньбо, мертвенную бледность и выражение испуга и страха на нём даже толстый слой грязи не мог скрыть. Он подошёл к очагу, обдав всех принесённым с собой холодом.

Жена разом побледнела ещё сильнее, чем он:

– Любимый, что такое страшное случилось?

– Прости, дядя, я верю в Будду и не верю в бесов, но я точно видел бесов.

– О, Эньбо...

– Я действительно видел бесов.

– Что?

– Гэла ушёл, они с его слабоумной матерью где-то скитаются...

– Сынок, у каждого человека своя судьба; может быть, скитаться и есть их судьба...

– Но... – Эньбо с усилием поднял руки и закрыл лицо, слёзы потекли сквозь щели между пальцами. – Но они умерли на пути скитаний, у них не было еды, не было тепла и одежды, недобрые деревни могли спустить на них злых собак, дети могли бежать за ними следом и бросаться камнями, у них нет документов, нет даже права скитаться. Они умерли на дороге, их неприкаянным душам некуда было вернуться, и они вернулись в Счастливую деревню...

– Они... Ты говоришь, Сандан и Гэла правда вернулись?

– Вернулись, их души вернулись.

– И какие их души, Сандан и Гэлы? Они полны ненависти, или...

– Дорогой дядя, я не видел.

– Тогда что ты видел?

– Огонь.

– Огонь?

– Огонь, да. Когда мы пили водку, дверь сама отвалилась и упала. Мне было тяжело на сердце, я слишком много выпил, а когда протрезвел, увидел, что в их давно погасшем очаге горит огонь...

Договорив это, Эньбо глубоко вздохнул и медленно опустил руки, закрывавшие лицо. Он умоляющим взглядом обвёл всех. Его глубокое чувство собственной вины и страха передалось остальным. Все застыли, как изваяния, даже дыхания не было слышно; в очаге плясали язычки огня, отбрасывая тени от человеческих фигур по стенам, делая их то больше, то меньше, то меньше, то снова больше. Страх, словно ночной холод, бесшумно полз по спинам и забирался в сердце.

Все так и сидели – до тех пор, пока в окно не проник серый предутренний свет.

Цзянцунь Гунбу поднялся, достал жестянку молока, кусок прессованного чая, мешочек пшеничной муки:

– Если души и правда вернулись, им тоже нужна помощь. Раз они вернулись в Счастливую деревню, значит, там, в других местах, им было ещё хуже.

Он посмотрел на серое лицо Эньбо.

– Дорогой племянник, идём, прочтём молитву этим двум несчастным, пусть перейдут в другую жизнь.

Они пошли вниз, а за спиной у них раздавался женский плач. Когда они выходили со двора, за ними выбежал и Заяц. Эньбо сказал ему вернуться. Заяц не хотел. Эньбо вздохнул, протянул руку, взял в неё холодную как ледышка ручку Зайца, и трое мужчин, три поколения одной семьи, пошли к центру деревни. Только прошли несколько шагов – и сквозь неплотный туман увидели смутный силуэт Сандан. Трое мужчин, затаив дыхание, пошли за ней. Сквозь туман силуэт был трудноразличим, что-то потустороннее было в этом, однако впереди был слышен звук шагов, а от привидения такого звука не должно быть.

Трое мужчин следом за этой тенью вошли на площадь.

Дойдя до маленького домишки, Сандан остановилась. Трое мужчин тоже остановились. Сандан нагнулась, подняла и поставила у стены дверь, упавшую, когда её никто не трогал, и только потом медленно перешагнула порог, вошла в дом. В доме была чернота, снаружи не было видно, что она делала после того, как вошла. Эньбо только слышал, как Сандан радостно вскрикнула, потом послышались всхлипывания Гэлы, а вслед за ними донёсся и разрывающий душу плач Сандан. Люди в Счастливой деревне привыкли видеть её вечно сияющей, вечно улыбающейся своей глупой улыбкой, в этот раз впервые был слышен её плач.

– Привидение... – Эньбо задрожал, как от холода.

– Нет, не привидение, я знаю, это брат Гэла вернулся, – сказал Заяц.

Большая рука Эньбо прикрыла рот Зайца.

В это время плач в доме тоже прекратился, Эньбо казалось, что он, закрыв рот Зайцу, тем самым закрыл рот и тем двум душам.

Трое мужчин так и стояли в рассветном тумане, прислушиваясь к звукам, доносящимся из дома. Плач прекратился, и двое стали что-то неразборчиво говорить, словно боялись не успеть, наперебой, сбиваясь и задыхаясь. Но как ни напрягали слух стоявшие снаружи люди, нельзя было ничего разобрать, о чём говорили.

Мать и сын говорили и говорили, монотонно, быстро, перебивая друг друга, а давно погасший огонь в очаге разгорался и становился всё ярче и больше, трём мужчинам семьи Эньбо уже было хорошо видно освещённые огнём два лица. Лицо Сандан было спокойным и любящим, глаза её были устремлены на сына, слёзы текли по её лицу. Лицо Гэлы сияло радостной улыбкой, по нему тоже текли слёзы.

Потом Сандан снова издала громкий печальный крик.

Эньбо сложил обе ладони:

– Спасибо, Прародитель Будда, что защитил, что Сандан с сыном вернулись живые, о Прародитель Будда, очисти меня от грехов моих... – И слёзы выступили на его красивых, одухотворённых глазах.

Гэла тоже заплакал:

– Мама, где ты была все эти годы?

Теперь людям снаружи было слышно, что говорили люди в доме.

– Я боюсь. Сынок, я боюсь...

– Я везде искал тебя, но нигде тебя не нашёл и вот вернулся...

– Я столько мест обошла. Я думала, эти люди тебя убили, я боялась, повсюду ходила, но мне больше некуда было идти, и я вернулась сюда. Не надеялась, что небо оставит мне моего сына, а небо вернуло мне моего сына...

– Небо не отнимет у меня мою маму, я нигде тебя не нашёл, мне тоже некуда было идти, я только что вернулся, заснул, только открыл глаза и вижу маму...

Эньбо был очень взволнован, хотел тут же броситься в дом, но только шагнул, как Цзянцунь Гунбу, дядя, крепко схватил его:

– Не мешай, дай им побыть счастливыми.

Цзянцунь Гунбу положил у двери чай, соль и муку, пятась, тихонько потянул за собой Эньбо и Зайца и, лишь отойдя достаточно далеко, повернулся лицом вперёд.

Только теперь они внезапно обнаружили, что почти вся Счастливая деревня собралась на площади, даже мать и жена Эньбо были в этой тихо стоявшей на площади в сыром утреннем тумане толпе. Когда Эньбо развернулся к ним, Лэр Цзинцо крепко прижала к себе Зайца и тихо зарыдала, словно запела.

Другие женщины тоже чуть слышно плакали.

От каждого дома деревни принесли что-нибудь, и в этом тоже было их чувство раскаяния. Люди положили принесённое у двери, повернулись и ушли, чувство вины стало чуть меньше, оно не исчезло совсем, но на душе стало непонятным образом немного теплее.

В этот день вся деревня не спешила выйти на работу в поля, звонок в начальной школе не торопился звать на уроки, разрозненные кучки людей отовсюду внимательно смотрели в одно и то же место, на тот самый низкий в деревне, убогий, покосившийся домишко из двух комнат.

Туман в конце концов совершенно рассеялся, мать и сын наконец-то вышли наружу. Солнце Счастливой деревни спустя несколько сотен дней снова осветило их, озарило их лица.

Одежда на них была вся рваная, но вода Счастливой деревни уже дочиста омыла их лица. Гэла заметно подрос, в сильно исхудавшем его лице появилась решимость, даже некоторая жёсткость. Сандан была такая же красивая, глядя на её ту же прежнюю сияющую беззаботную улыбку, все даже немного засомневались, действительно ли слышали совсем недавно её полный печали и боли плач.

Когда она увидела эту грудку у двери – чай, соль, масло, муку, старую одежду, чашки, нож для хвороста, там даже была баночка мази «от всех болезней», коробок спичек, замок, – она издала удивлённо-радостный крик, и все снова услышали её беззаботный смех, похожий на звук серебряного колокольчика. Продолжая радостно смеяться, она стала перетаскивать по частям все эти вещи в дом:

– Сынок, скорей помоги мне!

Каждый раз, входя с вещами, она обращалась к сыну. Но Гэла неподвижно сидел на пороге и всякий раз, когда мать входила и выходила, только недовольно отклонялся в сторону. Из всей кучи он вытащил только замок, он впервые поднял глаза и обвёл взглядом эту очень давно покинутую им деревню. Даже те, кто стоял далеко, даже те люди отводили глаза, когда их взгляды встречались. Вся деревня стояла, переминаясь с ноги на ногу и тихонько переговариваясь, у всех было чувство вины, вся атмосфера была такая.

Солнце было не очень яркое, мягко так и тепло озаряя всё кругом, подсвечивая далёкие горы на голубовато-сером размытом фоне. Солнечный свет падал на воду, и вода становилась на вид как бы плотнее, гуще. Солнечный свет падал на камни, камни замерли, будто погружённые в какие-то свои глубокие мысли. Солнечный свет падал на землю, даже мелкая пыль была без движения, устала носиться по ветру и наконец улеглась, чтобы как следует отдохнуть.

Этот дом Счастливой деревни, покрытый белёсой дранкой, тоже был озарён солнечным светом, сверкал, тонул в твёрдом металлическом блеске.

В годы получше и то никогда не бывало в Счастливой деревне такого тихого покоя. В эти годы перемен и нестабильности, так давивших на людские души, очень и очень много лет не было такой тишины, по-особенному звучащей в самой глубине сердца.

Поэтому начальник производственной бригады не решился стать посередине площади, прочистить горло и заорать: «На работу!»

Присланный из других мест учитель начальной школы тоже не вышел вперёд, звоня в колокольчик, чтобы шли на урок.

Через открытый дверной проём можно было видеть, как они наливают чай в чашки, как вдруг молча замирают на миг и потом только начинают размешивать в чае масло, берут подогревшуюся на краю очага лепёшку, делают глоток чая, откусывают кусок лепёшки, не спеша жуют... В процессе эти двое время от времени поднимали головы, смотрели друг на друга и улыбались, переговаривались тихими голосами; они ели нормальную, обычную еду с особенным спокойным достоинством.

Вся деревня, затаив дыхание, ждала, пока они неторопливо закончат свой первый после возвращения в Счастливую деревню обед, приберут и встанут от очага. Первой вышла наружу Сандан. Никто не знал точно, сколько ей лет, ей было ещё не много, должно быть, ещё не было и сорока, но её прежде чёрные блестящие волосы уже все стали седыми. Очень странно было, но лицо её было как у девушки – чистое, гладкое и румяное; она вышла на порог и, словно никогда отсюда не уходила, как ни в чём не бывало обвела глазами площадь, села на землю, опершись спиной о стену дома, расплела косу и стала расчёсывать волосы.

Гэла тоже вышел, он с большим усилием медленно поднял отвалившуюся дверь, хотел вставить её обратно в дверной проём, но после нескольких неудачных попыток остановился.

Он попробовал ещё раз, тонкие худые руки не удержали, дверь снова тяжело грохнулась на землю. И сам Гэла вслед за ней повалился на неё сверху. Тут он увидел, что мужчины Счастливой деревни подошли и стали вокруг. Эньбо протянул руку, Гэла тоже протянул руку, Эньбо легко, одним движением поднял его на ноги. Мужчины засмеялись, Эньбо обнажил в улыбке белоснежные зубы, но не смеялся; Гэла тоже улыбнулся во весь рот, полный белых зубов, медленно засмеялся.

Мужчины вместе взялись и поставили дверь; Эньбо с гвоздями во рту, сверкая на солнце бритой головой, размахивая молотком, один за другим вбил гвозди в дверную раму, прочно закрепляя железные петли; Гэла спокойно стоял рядом и смотрел на него.

Эньбо повернул голову, взглянул на Гэлу, который был ненамного старше его собственного сына, сказал:

– Вот теперь хорошо. Что стоишь? Давай замок.

Гэла повернулся и взял замок.

– Пробуй.

Гэла запер дверь на замок.

Услышав звук запирающегося замка, Сандан обернулась и сказала:

– Не надо замка, мы больше не уйдём.

Гэла отпер замок и тихо ответил:

– Да, мы больше не уйдём...

Эньбо раскрыл широкую ладонь, накрыл ей острую макушку Гэлы, несколько раз порывался что-то сказать, с трудом выговорил наконец:

– Детка...

Гэла негромко вскрикнул радостным голосом и убежал. Это он увидел Зайца, который отворил калитку своего двора и шёл в их сторону. Гэла побежал ему навстречу, обхватил за

пояс Зайца, как прежде вытягивавшего свою длинную тонкую шею, и синяя вена по-прежнему билась и прыгала у него на виске. Потом оба они засмеялись гогочущим смехом.

Эньбо засмеялся, все люди на площади засмеялись. Начальник производственной бригады тогда только прочистил горло и закричал:

– На работу!

И зазвучал звонкий, чистый голос колокольчика начальной школы.

Все разошлись по своим делам, только Сандан по-прежнему сидела и расчёсывала свои белые как снег, сверкающие волосы.

Цзянцунь Гунбу ушёл с площади последним. Этот вернувшийся в мирскую жизнь лама держал мотыгу, как будто это был посох; он стоял тихо и смотрел, как Сандан заканчивает расчёсывать последнюю прядь своих седых волос, подняв вечно молодое лицо, улыбается ему широкой открытой улыбкой, и только потом повернулся и пошёл в сторону поля на западе от деревни.

Солнце светило ему в спину, Цзянцунь Гунбу видел свою тень с мотыгой на плече, идущую впереди, и сказал: «Грех это».

Он ещё шёл за тенью какое-то время, обернулся и увидел, что Сандан всё ещё смотрит ему вслед, а её белые волосы сверкают и искрятся на солнце, и снова сказал: «Смутное время рождает грех и зло».

7

Мать и сын ушли в позапрошлом году летом, на следующий год летом не вернулись, на третий год, когда уже скоро должно было наступить лето, они вернулись.

Их не было почти два года; в Счастливой деревне всё вроде было как всегда, но что-то понемногу менялось. Особенно это было так для семьи Эньбо. Если не вникать, то всё как всегда, светлый день и тёмная ночь крутятся друг за другом, вот и всё, но присмотреться, прислушаться повнимательней, и понятно, что то и дело вмешивается посторонний стук и всё стопорится, словно посторонний предмет попал в крутящийся механизм. В сумерки Эньбо задумывался о вдруг исчезнувших Сандан с сыном, в сердце возникал такой вот посторонний стук, и невыразимая словами тяжесть в сумеречный час расплзалась повсюду вместе с бледно-голубым туманом с гор, заполняла серые смутные очертания деревни. Жизнь, словно связанные верёвкой ноги, не могла идти дальше вперёд.

Гэла с матерью вернулись, и семью Эньбо охватила атмосфера праздника. Они достали кувшин вина, выменянный у другой семьи за две меры зерна, долго варили в котле мясо; горох и джума в кипящем бульоне издавали соблазнительный аромат. Когда мясо сварилось, Эсицзян нарезала его большими кусками, горкой сложила на подносе и, дую на руки, чтобы остудить, со смеющимися глазами распорядилась:

– Пора идти звать наших гостей!

Эньбо с женой пошли к лестнице, а Заяц закричал:

– Я тоже пойду, я позову брата Гэлу!

Лэр Цзинцо с некоторым беспокойством посмотрела на мужа, Эньбо весело махнул рукой, сказал:

– Идём-идём, это из-за тебя их так напугали, что они ушли, иди, проси их вернуться.

Заяц радостно вскрикнул и подбежал к отцу. Отец разом подхватил сына и посадил к себе на плечи. Заяц сначала испуганно ойкнул и сразу же захохотал.

Всей семьёй пересекли площадь и уже были у двери дома Гэлы, когда Заяц заёрзал на шее у отца, Эньбо тут же его опустил.

Только что починенная дверь была прикрыта, сквозь щель проникал красный отблеск огня. Эньбо поднял руку и хотел постучать, но увидел, что жена и сын спрятались за его спиной. Он тепло улыбнулся им, подбадривая, и постучал.

Сандан открыла дверь, язычки пламени в очаге радостно заплясали, озаряя красными отблесками стоявшего перед дверью мужчину с бритой головой и широким лицом.

Этот мужчина что-то хотел сказать, но ничего не говорил, а всё пытался проглотить стоявший в горле комок. На лице Сандан проступило выражение испуга. Мужчина снова попытался сглотнуть ком в горле и по-прежнему молчал.

Но выражение на лице Сандан быстро сменилось на радостно-удивлённое, она позвала:

– Гэла, соседи пришли нас проведать!

Ещё не закончив говорить эти слова, она тут же чмокнула Эньбо в лицо. Эньбо ещё не пришёл в себя, а её поцелуй уже был на щеках всех членов его семьи. Эньбо немного смутился, стал стирать с лица несуществующую слюну, а Сандан в это время уже добралась до самого последнего, до Заяца. Она нагнулась, дрожащими губами пытаясь дотянуться до бледного личика маленького ростом ребёнка. Её поцелуй должен был прийтись ему на лоб, но Заяц стеснительно засмеялся и уклонился. Она снова попыталась поймать его губами, и снова поцелуй пришёлся в пустоту.

Эсицзян придержала её:

– Сандан, ребёнок боится, не надо.

Заяц увидел вышедшего из комнаты Гэлу и засмеялся, а на лице Сандан появилось выражение страха, она забормотала:

– Боится? Чего он боится? Он меня боится?

Говоря это, она задрожала всем телом, а вся семья Эньбо, видя это, замерла: никто не знал, что ответить. Тогда Гэла подошёл, обнял мать и сказал:

– Мама, тебе не надо бояться, никто не должен нас бояться, и ты тоже не должна бояться, что другие нас бояться.

Детский голос Гэлы был хриплый, глухой, даже немного злой, почти совсем как у взрослого. Его голос успокоил Сандан, выражение её лица снова стало нормальным:

– Сынок, скорее предложи гостям войти в дом...

Гэла злобно уставился на Эньбо:

– Мама, у нас дома плохо и тесно, никто не захочет сидеть у нас в гостях, это место годится только для таких, как мы.

Тут только Эньбо стал перед Гэлой, взгляд его был и сердитый, и смущённый одновременно:

– Гэла, мама Гэлы, вы вернулись... Я и все мы очень-очень рады... Мы очень боялись, что вы никогда сюда не вернётесь, боялись, что никогда не узнаем, куда вы ушли. Что было раньше, это всё из-за меня, я был неправ... Мы всей семьёй пришли просить у вас прощения...

Договорив эти слова, Эньбо протяжно вздохнул, как человек, сбросивший наконец с плеч тяжёлую ношу. Он протянул руку и погладил Гэлу по голове, его голос тоже стал сильным:

– Детка, вас с мамой в пути, наверное, много обижали... Я пришёл просить прощения.

Эньбо согнулся в глубоком поклоне, а вслед за ним и все члены его семьи тоже склонились, согнув спины, и весь гнев Гэлы тут же улетучился. Он стоял с покрасневшими глазами и не знал, что сказать и что делать.

И снова Заяц, волоча ноги, подошёл к нему, робко сказал:

– Брат Гэла...

У Гэлы, этого дикаря, скопившиеся в глазах слёзы наконец хлынули, он крепко прижал Заяца к своей груди. Но когда он нагнулся его поцеловать, Заяц отстранил лицо:

– Нет, доктор из коммуны говорит, что никто не должен меня целовать.

– А что сказал доктор, какая у тебя болезнь?

– Доктор сказал, что я не болен, а просто слабый, а в Счастливой деревне плохо следят за гигиеной, если целовать, то могут меня заразить.

– Заяц, ты почему не растёшь?

– Потому что слабый, доктор сказал, что я поправлюсь и тогда стану расти.

– Тогда расти скорей. Вырастешь большой, и не будет страшно драться.

– Я не буду драться, от этого устаёшь, это для здоровья вредно.

Гэла расправил грудь:

– Ну ладно, я буду тебе помогать драться.

Заяц засмеялся, на бледном лице проступил слабый румянец.

Цзянцунь Гунбу расправил плечи:

– Э-э... Я думаю, пора звать гостей к нам в дом...

– Да, да! – Лицо Эньбо просветлело. – Гэла и Сандан, идёте к нам в дом, мы приготовили для вас угощение, обязательно, вам понравится!

Заяц уже потащил Гэлу вперёд.

Эсицзян подошла к Сандан, склонилась, сделала приглашающий жест, Сандан непринуждённо ответила вежливым поклоном. Эсицзян протянула ей руку, но она подобрала края одежды и стала кланяться, пропуская её вперёд как старшую, и только потом двинулась за ней следом. Цзянцунь Гунбу и Эньбо с женой втроём шли последними. Лэр Цзинцо сказала:

– Зачем она подбирает платье? Подол не подшит, а даже щиколотки не закрывает, всё равно не достаёт до земли...

Эньбо повёл бровью:

– Пусть делает так, как ей нравится.

Лэр Цзинцо всё не могла успокоиться:

– Живут как скоты, а строит из себя благородную...

Цзянцунь Гунбу сказал:

– Перестань, у неё манеры и правда как у благородной.

Шедшая впереди Сандан словно услышала их разговор, вдруг задрожала, как будто силы оставили её, и она вот-вот упадёт, но понемногу успокоилась и как ни в чём не бывало двинулась дальше, гордо подняв поникшую было голову, с лёгкой улыбкой на лице, приподнимая края юбки, хотя это было совсем не обязательно.

После этого в Счастливой деревне стали говорить: Сандан – это скрывающаяся дочь аристократического семейства.

Тогда же люди вспомнили одну мелочь из прошлого, деталь, которой не придавали раньше значения: у этой женщины на груди был мешочек, с которым она никогда не расставалась. Люди вспомнили, что, когда она только появилась в Счастливой деревне, этот мешочек был по краям обшит замшей, в середине была разноцветная парча. Но теперь все краски потускнели и стёрлись, узоры на парче выцвели, весь мешочек стал серого землистого цвета, а один уголок был подшит грубой холщовой тканью. Все говорили, что этот мешочек набит самыми лучшими драгоценностями. И некоторые рассказывали, что собственными глазами видели глубокой ночью, как из этого ветхого домишки из окна идёт радужное сияние от этих драгоценных камней – жемчуга, агатов, кораллов, кошачьего глаза и аквамаринов.

С этих пор, как только появлялась Сандан, люди во все глаза смотрели на этот мешочек.

Сандан этого совершенно не замечала и по-прежнему ходила под их взглядами так же свободно и непринуждённо, с той же отсутствующей полуулыбкой на лице. Лишь немногие, излишне падкие на женскую красоту мужчины, могли ещё перевести взгляд на её лицо, задержаться на её сверкающих белых, будто никогда не бывших чёрными, волосах. Остальные не отводили своих глаз от мешочка.

Но никто не смел и пальцем прикоснуться к этому мешочку.

И неизвестно, кто первый начал рассказывать, но говорили, что на эти сокровища наложено проклятье, и кто осмелится коснуться их хоть пальцем, то палец тотчас же будет отравлен неизвестным ядом и отвалится.

В этот год погода была очень странная. Уже пришло время, когда по ночам должны шелесть дожди, а днём высоко в небе стоять и ярко светить солнце, когда повсюду в диких лугах распускаются цветы, но в небе стояла непонятно откуда принесённая слабым ветром жёлтая мгла, и все чувствовали на лицах, на губах и в глазах мелкую, всюду проникающую пыль. Тончайшая пыль оседала с неба и делала всё вокруг землисто-жёлтым. Жизнь в Счастливой деревне была бедной, но небо всегда было синим, а воздух свежим. Теперь же и воздух был словно вышедший из какой-то древней щели далёкого прошлого, затхлый, протухший.

В этот год в Счастливой деревне все страдали от болезни глаз.

Просыпаясь утром, обнаруживали, что веки плотно склеены глазным гноем, и приходилось слюной тереть и размачивать веки, чтобы хотя бы можно было раскрыть глаза. Выходя из дома, люди смотрели друг на друга и видели, что в глазах у всех появились мелкие кровавые ниточки. У всех глаза слезились на ветру, у всех появились гнойные язвы по уголкам глаз. Хорошо ещё, что доктор из коммуны прислал много глазного лекарства, и глаза у всех быстро вылечились.

Доктор приезжал в деревню и объяснял, что при такой погоде надо носить особые очки, и тогда не заразишься этой болезнью. Сам доктор был именно в таких вот очках.

Пока все стояли в очереди к доктору, скрывшему свои глаза за стёклышками, чтобы получить глазную микстуру, люди заметили, что Сандан стоит тут же рядом, со своей беззаботной улыбкой на лице, и глаза её как всегда чистые и ясные, и как будто она всё-всё видела, но и будто ничего не замечает. Так что эта её обычная непонятная полуулыбка, похоже, приобрела глубокий смысл.

Потом люди забыли объяснения доктора, что у всех болезнь глаз происходит от никогда прежде не бывавшей песчаной и пыльной погоды. Все стали говорить, что заклятье на драгоценности было наложено слишком сильное, даже если просто долго смотреть, и то заболеешь. Тогда разволновались ещё больше, потому что если знаешь точно, что кто-то на себе носит мешок с драгоценными камнями, то кто же удержится, чтобы не посмотреть?

Всё это и даже ещё более серьёзным образом было доведено до сведения аж руководства производственной бригады, до кадровых работников. Сейчас Счастливая деревня стала производственной бригадой народной коммуны, в ней есть ячейка партии, комсомольская ячейка, есть комитет бедняков, есть народное ополчение, в каждую из этих структур назначили кадровых работников из самих сельчан.

Народные массы этой самой деревни донесли свою озабоченность до тех людей этой самой деревни, которые стали кадровыми работниками, а эти люди, собственно, и сами так же были этим озабочены. Так что люди пошли просить совета у ламы Цзянцунь Гунбу, то есть чтобы он всё толком объяснил и разложил по полочкам. Сельское начальство тоже ожидало какого-нибудь объяснения.

Цзянцунь Гунбу приосанился, как лама, и сказал:

– Вот что, социализм против феодального прошлого, я больше не занимаюсь феодальными предрассудками.

Эньбо сказал:

– Односельчане в затруднении, надо бы всем как-то разъяснить...

– Ты же видел, как с неба падает песок? Тьфу, ну что это за мир, где даже с неба сыпется песок и пыль... Пыль должна быть на земле, а теперь небо тоже порождает пыль и грязь! – Цзянцунь Гунбу начал выходить из себя:

– Что это за мир, который так устроен?

Заяц вдруг сказал:

– Я спрашивал брата Гэлу, он тоже не знает, что там внутри.

– Что? Так пусть посмотрит, тогда и узнает.

В эту минуту по небу прокатился негромкий низкий раскат грома, на горах заходили волнами под ветром кроны деревьев, струившиеся сверху потоки солнечного света то вспыхивали, то меркли.

Гром словно подсказал Эньбо: «Странно, ведь у Гэлы тоже нет глазной болезни!»

Цзянцунь Гунбу сказал:

– Разве что в следующей жизни у него будет новая пара быстрых зорких глаз, а в этой жизни ему без глаз не выжить.

Эньбо всегда хорошо понимал суть дела, в этот раз к тому же его подталкивало горячее стремление принести народу избавление от напасти, и он с воодушевлением сказал:

– Посмотреть значит посмотреть, самое большее – ослепнут мои оба глаза, – и решительно зашагал через площадь в сторону Гэлы и его матери, видневшихся в дверном проёме.

Снова ударил гром, дождевая вода огромными каплями падала, разбиваясь о крыши, о землю, взметая облачка лёгкой пыли; уже по этой взметнувшейся пыли было видно, как много грязи выпало сверху с неба за эти десять с лишним дней.

Эньбо прорывался вперёд сквозь мощные струи дождя, дождевые капли бились о его макушку и разлетались мелкими брызгами, он шёл, словно сказочный дикий зверь, поднывавшийся из глубины вод. Струи дождя становились всё гуще, людям на этой стороне площади уже не было видно той, другой стороны, отрезанной плотной водяной завесой; Сандан, широко раскрыв глаза, смотрела, как в её сторону сквозь пелену дождя стремительно шагает сильный и грозный мужчина с бритой головой.

Сандан потрясла Гэлу за плечо, показала пальцем:

– Смотри!

Гэла посмотрел и сказал:

– Дождь смыл запах пыли.

Сандан сказала:

– Смотри на этого человека!..

Гэла сказал:

– А, это папа Зайца.

Сандан снова восхищённо воскликнула:

– О, божественно, этот мужчина такой красивый! – И потом Сандан широко раскрыла руки в сторону этого летящего к ней сквозь дождь мужчины, в её глазах сверкнул ослепительный блеск, она сама была словно сошедшая с небес. Но именно это движение и поза испугали мужчину.

Мужчина внезапно остановился, настолько резко, что его даже качнуло вперёд. Он встал и замер, отделённый завесой дождя. Дождевая вода яростно обрушивалась вниз между ними, низвергалась на всю деревню, смывая всю грязь и её затхлый, удушающий запах.

Гэла сказал:

– Мама, это папа Зайца.

Сандан лишь продолжала твердить своё:

– Какой красивый мужчина, какой красивый, ты только посмотри, какой же он красивый...

Однако как раз это её выражение лица испугало и остановило мужчину. Гэла подбежал, схватил Эньбо за локоть:

– Дядечка, зайдите в дом от дождя!

Эньбо сказал:

– Нет. Я не пойду...

– Тогда зачем ты пришёл?

Во взгляде Эньбо понемногу стала появляться враждебность.

– Столько мужчин приходят к ней, и ты тоже? Смотри, она уже зовёт тебя, иди скорей, иди же!

– Нет, Гэла, это не то, что ты думаешь...

– Да ты посмотри, ты посмотри на неё, вы же все смотрите на неё как на суку? Сучка подняла хвост, иди же скорей!

Эньбо схватил Гэлу за ворот и разом вздёргнул вверх, так что их глаза оказались на одном уровне:

– Ты запомни, что я скажу, малыш: твой дядя Эньбо не такой, как те мужчины. И ещё: ты не должен так говорить о своей матери, даже если бы она и правда была собакой, она же твоя мать!

Гэла брыкнул пару раз своими тонкими, худыми ногами, но это не произвело никакого результата, он по-прежнему висел и болтался в воздухе, не касаясь земли, и струи дождя били его как плети.

Густой дождь, чистый, светлый дождь падал с высоких небес.

Гэла увидел, как глаза Эньбо из злых и жестоких становятся мягкими, потом он почти шёпотом сказал:

– Запомни, нельзя повторять за другими, ты не должен плохо говорить о своей матери. Если бы дождь не утих в эту секунду, то Гэла не смог бы слышать этих слов.

Сердце Гэлы тоже смягчилось, он сказал:

– Дядя, отпусти меня.

– Ты запомнил, что я сказал?

– Я запомнил.

Только тогда Эньбо опустил его. Через быстро редющие струи дождя он внимательно посмотрел на Сандан. Сандан застонала, припала к дверной раме и, обмякнув, соскользнула вниз, уселась на порог. Эньбо раскрыл широкую ладонь, провёл по макушке, стряхивая дождевую воду, развернулся и ушёл.

Дождь прекратился как по волшебству, солнце ослепительно заиграло на лужах, раскинувшихся повсюду. Обходя лужи, Эньбо возвращался к людской толпе, ожидавшей на другой стороне площади.

– Ты видел?

– Там правда драгоценности?

– Они настоящие?

Только его жена говорила не так как все:

– Ты трогал её вещи? Дай посмотрю на твои руки.

Эньбо дал ей посмотреть со всех сторон свои руки, улыбался и не отвечал. Его взгляд был устремлён вверх, выше голов, на другую сторону площади, но он туда смотрел не на Сандан, его глаза смотрели чуть выше, в сторону вечных снегов Аутапи, там, на только что отмытой бирюзовой синеве горы сомкнулась, словно многоцветный пояс, яркая радуга.

Люди не смотрели на радугу, они даже не заметили, что Эньбо смотрит на радугу, а продолжали настойчиво спрашивать:

– Так ты видел?

– Правда, что там драгоценности? И много?

– Они все настоящие?

Эньбо вполголоса отвечал:

– Да-да, очень много, у этой женщины очень много драгоценностей.

– Красивые?

– Очень красивые?

Эньбо отвёл наконец глаза от радуги и сказал:

– Да, очень красивые, ещё красивее, чем эта радуга.

Тут люди засомневались, все повернулись к Цзянцунь Гунбу:

– Уважаемый лама, у этой женщины действительно есть драгоценности, это большая проблема.

Удерживая улыбку, лама отвечал:

– Если где-то собрано в одном месте много драгоценностей, это значит, что небеса ещё не оставили это место.

– Но ведь... но ведь...

– Но ты всё-таки придумай что-нибудь, не надо, чтобы у нас снова была глазная болезнь...

– Врач вашу болезнь уже вылечил.

– Но может опять появиться...

Цзянцунь Гунбу пришлось взять кусок жёлтой ткани, которой раньше была обернута священная книга, сказать, что если сшить из неё чехол и мешочек Сандан будет внутри, то бояться нечего.

– Конечно, – сказал он, – если кто и вправду захочет это взять, откроет мешочек, то я тогда ни за что ручаться не берусь.

Все сказали, что никто не осмелится хватать руками то, чего не видно глазами. Цзянцунь Гунбу снова сказал:

– Но всё-таки: глазами не видно, а кто поручится, что не будут думать об этом?

Все опять стали спрашивать, как с этим быть.

Цзянцунь Гунбу тогда с торжественным, серьёзным видом сказал:

– Если много об этом думать, тогда, возможно, могут появиться болячки во рту.

И все благоговейно выдохнули:

– О небо!..

8

Этот год, когда Гэла с матерью вернулись, вошёл в историю Счастливой деревни как самый примечательный.

В передаваемой людьми изустно истории Счастливой деревни этот год получил название «тот год, когда построили дорогу». Были и такие, которые называли этот год «годом автомобиля». Но всё-таки более точным было то, что построили дорогу. Потому что в этот год, начиная с весны, постоянно доносились раскатистые взрывы – пробивали горы. Самую простую дорогу давно вели от главной ветки шоссе, обозначенного на карте как «шоссе Чэн-А», просто надо было немного продлить её, чтобы дотянуть до Счастливой деревни. Тянули до зимы, когда приехал по ней первый грузовик. Если всерьёз говорить про автомобильные годы, то они начались на самом деле позже, после того как уже открытая дорога была на какое-то время практически заброшена.

Взрывы становились всё ближе и ближе, и жители Счастливой деревни становились всё возбуждённее, как будто каждый теперь, начиная с этого момента, станет ездить на машине, как будто сразу, как только приедет машина, так немедленно наступит уже объявленный им невиданный поворот в их судьбе, перевернутся земля и небо, и для всех действительно наступит новая эра счастливой жизни.

Похоже, всё-таки надо здесь будет для начала рассказать о географии Счастливой деревни.

Граничащих с Счастливой деревней посёлков два. В тридцати километрах есть посёлок Шуацзинсы, принадлежащий другому уезду. Местечко Сомо, где расположилась народная коммуна, к которой относится Счастливая деревня, от неё в пятидесяти километрах. Люди из Счастливой деревни чаще ходят в Шуацзинсы, не только потому что ближе, но ещё и потому, что это посёлок большой, храм, куда в прошлом ходили люди Счастливой деревни, тоже был рядом с этим посёлком. Шоссе, идущее вдоль большой реки, связывает эти два посёлка, но, чтобы из Счастливой деревни идти в эти два места, надо сначала вдоль протекающей через Счастливую деревню реки по течению добраться до места слияния рек, а потом выйти на шоссе и повернуть на северо-запад или на юго-восток, в один из посёлков.

Теперь от шоссе вдоль реки делают ответвление, которое с каждым днём всё ближе и ближе подходит к Счастливой деревне.

Рушат горы, гулко раскатываются взрывы, на фоне чистого ясного неба вверх один за другим поднимаются толстые столбы пыли; сельские жители, звери в горах выбегают посмотреть на эти поднимающиеся и опадающие клубы пыли.

Когда это всё происходит, то обезьяны, горные и водяные олени, дикие свиньи, горные козлы, а иногда даже медведи и волки, услышав громы взрывов, выбирают из своих убежищ в густом лесу, бегут на редколесье на верхушке горы и оттуда вниз смотрят на странные дела, которые творятся внизу. Обезьяны забираются на верхушки деревьев, треплют свои уши и в замешательстве теребят щёки, олени на далёких лугах вытягивают свои длинные шеи, медведи как всегда лениво взирают на всё свысока, развалившись на каком-нибудь высоком утёсе.

Если даже чуткие дикие звери настолько любопытны и возбуждены, то совершенно логичны и обоснованны приподнятый настрой и возбуждение у людей.

Потому что людям постоянно говорили, что каждое новое – это гарантия и предвестник новой счастливой жизни; когда образовывали народную коммуны, людям так говорили.

Когда первая большая телега на резиновых шинах приехала на сельскую площадь, людям так говорили. Когда молодой ханец, учитель, приехал на телеге в деревню, когда появилась в

деревне первая начальная школа, людям тоже так говорили. Когда первую телефонную линию провели в деревню, людям тоже так говорили.

Телефонная линия очень длинная, телефонный аппарат только один, установили его в доме у секретаря партийной ячейки, совсем как будду в прошлые времена ставили в монастыре; чёрный аппарат накрыли тёмно-красным бархатом, секретарь ячейки повесил на себя трубку: когда надо воспользоваться, только тогда подсоединял. Уже два года как установили аппарат. Никто из сельчан им не пользовался. У сельских простых жителей нет таких новостей, которые надо передавать в уши другим, у которых есть аппараты. Их новости без аппаратов передаются в людской толпе.

Как-то, помнится, звонил аппарат. Сельское начальство вызывали на совещание.

Только два раза этот телефон звонил не для того, чтобы вызвать на совещание. Один раз это было, когда дома у школьного учителя что-то случилось, учитель поговорил по телефону и сразу уехал, его не было почти месяц, а когда вернулся, очень похудел, сам на себя не был похож. Потом рассказывали, что его мать, которая была учительницей в городе ещё большем, чем Шуацзинсы, покончила с собой. И был ещё раз: по телефону передали информацию, сказали, что сбросили десант тайваньских агентов, что все в Счастливой деревне, кто может двигаться, должны идти их искать, но в итоге никого не нашли.

То есть аппарат этот был не для того, чтобы возвещать о царствии небесном или других такого рода хороших новостях с небес.

А когда дорога строилась, пропаганда сверху и настроение у людей были, будто это с неба лестницу к ним вниз ведут.

Но не каждый видел в мечтах тот день, когда приедут машины, не каждый представлял себя сидящим в автомобиле и мчащимся навстречу ветру, испытывая волшебное, неизведанное ощущение.

Гэла и Эньбо оба на бесконечные прекрасные мечтания у других смотрели с усмешкой. Такое их отношение было, конечно же, следствием личного опыта людей, покидавших деревню и уходивших от неё далеко. Сейчас эти двое из-за схожести своих позиций сильно сблизились между собой. Можно сказать, что прежняя неприязнь теперь, как следствие их одинаково неоптимистического отношения к происходящему, исчезла полностью.

Эньбо говорил:

– Машины, автомобили... Как будто вам сейчас небо раскроется, как будто вам крылья приделают; ведь без бумажки, без документов всё равно никуда не уедешь.

Гэла ходил и видел ещё больше, и с интонацией тех, кто там во внешнем мире решает, куда другим можно, а куда нельзя, говорил:

– Э-э! Вот не понимаю я этих тупых южан, ну какая им надобность ходить туда-сюда? То им хочется посмотреть восток, то запад. Они же всё равно ничего не поймут, они же тупые, что им там смотреть, хоть на западе, хоть на востоке?

Такое несерьёзное и неуважительное отношение этих двоих вызывало недовольство людей в массе, у которых и так нервы были напряжены. Однако и возразить им было нечего.

Начальник большой бригады Гэсанван предлагал это прекратить, однако этот человек никогда не был в Счастливой деревне важной фигурой; даже если теперь он и сделался начальником большой бригады, всё равно для Счастливой деревни он не стал значимым лицом.

В Счастливой деревне значимым человеком был Собо, который раньше состоял в рабочей группе, а сейчас – командир взвода народного ополчения. Собо – молодой, чистый, принципиальный, голова полна новых идей, не то что начальник большой бригады или секретарь ячейки – эти двое руководителей уже в возрасте и к тому же имеют с людьми деревни так много связей и разных отношений...

Собо сказал Гэсанвану:

– Начальник большой бригады, эти двое своими непрекращающимися отсталыми речами вредят всеобщей решимости в отношении строительства дороги, это надо прекратить!

Гэсан сказал:

– Это они только на словах, а от работы-то никак не отлынивают.

Собо хмыкнул и сам подошёл к Эньбо. Эньбо как раз тащил здоровенный камень. Собо сказал:

– Остановись!

Эньбо не остановился, продолжал в обнимку с камнем медленно шагать дальше, донёс его до края расчищаемой новой дороги, где и разжал руки. Кусок скалы покатился с высоты прокладываемой дороги вниз по крутому склону, всё набирая скорость, сбил и поломал немало деревьев, а потом, словно плуг, пропахал по лугу, обнажив и вывернув наружу чёрную землю.

Собо сказал:

– Я же с тобой говорю, ты что, не слышишь?

– Ты всегда говоришь очень убедительно. – Эньбо отряхнул пыль с рук. – Видишь – вот дорогу пробивают, что у неё на пути – всё умрёт.

– Приедут машины, коммунистическая партия построит для нас, тибетцев, счастливую жизнь, ты разве не рад?

– Я рад, раньше я только один раз видел машину, когда ходил искать Гэлу. Вообще-то я бы мог увидеть много машин, но у меня нет документов, и меня арестовали.

– Ты затаил в душе недовольство новым общественным строем!

– Если машины приедут, нас в них посадят и повезут туда, где мы раньше никогда не были, то все будут очень рады.

Подошёл Гэла, хлопая в ладоши и громко крича:

– Билеты! Билеты! Давай деньги, покупай билеты!

Это выглядело забавно, и все засмеялись. Гэла изображал какого-то персонажа, которого люди никогда не видели, он сделал надменное лицо:

– Смейтесь-смейтесь, показывайте ваши белые зубы, придурки. Хотите прокатиться? Деньги давай, тупая деревня, доставай деньги, понятно? Всего-то пять мао, болваны, и с ветерком! Документы давай, справки! Хочешь ехать – покажи документ. Что, нет документа? Эй, люди! Хватайте этого негодяя!

Народ покатывался со смеху, Гэла смеялся, Эньбо тоже смеялся.

Только Собо не смеялся. Гэла сказал:

– Докладываю командиру взвода: смотри, все радуются, ты тоже будь повеселее.

Все захохотали ещё громче.

Отсмеявшись, люди замолкли, о чём-то задумались. Машины действительно приедут, однако денег у них действительно нет, и документов тоже нет, и это действительно факт.

Солнце стало опускаться за горы, камни от взрывающейся горы уже растащили. Когда люди Счастливой деревни собрались домой, пришли рабочие прокладываемой дороге бригады с взрывчаткой и мотком запального шнура, заложили взрывчатку в расщелину скалы. Люди отошли на небольшое расстояние, уселись на склоне, обращённом к закату, смотрели, как рабочие зажгли фитиль, пронзительно засвистели в железные свистки, которые держали во рту, как они побежали прочь.

Потом поляна под их задницами легко вздрогнула, несколько столбов дыма поднялись к небу, мощный звук взрыва докатился к ним. Скала с грохотом обрушилась, похоронив расчищенный ими за весь день работы участок дороги под грудой камней.

Все захохали, поражаясь невероятно мощной силе взрывчатки.

Собо сказал, вроде как подводя итог:

– Вот она, сила нового строя!

Собственно, силу нового строя все знали, потому что задолго до того, как начали прокладывать дорогу, новый общественный строй уже сошёл на них со всей невообразимой силой.

Эньбо похлопал Собо по плечу, Собо ещё не был крепок, как настоящий взрослый мужчина, и от этого мощного похлопывания зашатался всем телом, отчего ему стало немного неловко, а Эньбо засмеялся:

– Ничего, парень, скоро у тебя сил прибавится.

Собо, стиснув зубы, ответил:

– Ты просто отсталый элемент.

– И что из того, что я отсталый? Когда приедут машины, я ведь всё равно никуда отсюда не уеду, а ты должен быть передовой, не только на машине будешь ездить...

– Да за тобой самолёт пришлют, чтобы отвезти в город Пекин!

Это Гэла добавил.

– Вот же ублюдок, – сквозь зубы процедил Собо.

– Это все и так знают, тебе-то зачем повторять? – скривил рот Гэла и захихикал.

Понимая, что дальше связываться с этим ублюдком будет вредно для собственной репутации, Собо повернулся к Эньбо и сказал с угрозой:

– Смотри, плохо кончится, если будешь водиться с этим мелким хулиганом!

Эньбо прикрыл веки так, как будто собирался потом широко открыть глаза и выразительно посмотреть на него в ответ, но приподнял веки только до половины и снова прикрыл: лень-де даже смотреть на такого.

Люди поднялись и пошли в деревню; Гэла один радостно бежал впереди всех, вытянув руки и наклонившись всем телом, словно расправившая крылья и парящая в воздухе огромная птица; он бежал вниз по свежей зелёной траве горного склона, гудя как мотор:

– У-у-у! У-у-у! Я самолёт, я заберу тебя в Пекин!

Некоторые смеялись:

– Вот же проказник!

– Да разве ж это самолёт? Так голодные волки воют!

– Вот дуралей, самолёт гудит постоянно, а ты – с перерывами!

Счастливая деревня лежит на пути какой-то воздушной трассы: ясным днём около полудня здесь можно видеть, как самолёт, чуть побольше парящих в небе коршунов, расставив свои неподвижные крылья, сверкая серебряным блеском, с гулом медленно ползёт по небу над их головами.

9

Открытие дороги всё откладывали и откладывали; сначала хотели в октябре, на день образования государства, потом перенесли на ноябрь; потом снова перенесли – на декабрь, когда и погода холодная, и земля промёрзшая, и в конце концов уже в этом году перед Праздником весны, наконец, открыли.

Это новое добавило праздничного настроения в Счастливой деревне, где как раз готовились встречать Новый год.

На площади люди собирались группками по три, по пять человек, друг у друга разведывали, не будет ли кто потихоньку сам гнать самогон; в Счастливой деревне не хватает зерна на продовольствие, частным образом гнать водку в принципе-то запрещено. Ещё были люди, кто советовался, не позвать ли в дом ламу, чтобы прочёл какие-нибудь молитвы, ну там, чтобы всё тихо-мирно и чтоб ушли прочь беды-напасты: «общественный строй новый, конечно, но Новый год-то надо встречать по-старому, чтобы всё было как полагается».

Такие дела в эти годы не делались прямо, а так вот потихоньку обсуждались, потому что были под запретом, и оттого возбуждали, создавали ощущение радостного ожидания.

Зимнее солнце светило приглушённо, томно, создавая как раз атмосферу, подходящую для чего-нибудь скрытного, тайного. Люди продолжали собираться кучками, шушукаться, выведывать, обсуждать – всё про то, как бы сделать этот Новый год не таким пресным и скучным, хоть в материальном плане, хоть в плане эмоций, в том смысле, чтобы придать ему хоть чуточку разнообразия.

Именно в это время обычно всегда распахнутая на площадь дверь дома Гэлы была часто закрыта. Обычно беззаботная Сандан, словно спасаясь от холода, лежала, сжавшись в комок, в углу у стены, вся дрожа как в ознобе, время от времени широко раскрывая бегающие испуганные, но ясные глаза. Она не хотела, чтобы Гэла это видел.

Когда взгляд сына останавливался на ней, она, преодолевая бившую её дрожь, говорила: «Не смотри на меня, сынок, прошу тебя, не смотри, я не здорова».

Гэла сразу же низко-низко опускал голову или начинал через бамбуковую трубку сдувать пепел с углей в очаге.

Только он поднимал голову, как она снова говорила: «Не надо на меня смотреть, я больная, не могу выйти найти что-нибудь тебя покормить, ты пойдёшь сам, скоро Новый год, у всех, в каждом доме есть что-нибудь хорошее, вкусное...»

Гэла шарил за спиной, доставал что-нибудь подложить под голову, поджимал ноги, ложился набок и долго не мигая смотрел на огонь остановившимися глазами.

Похожее ощущение бывает, когда от голода кружится голова. Но сейчас Гэла не был голоден; был конец года, производственная бригада только что распределила на всех зерно; то одна семья, то другая то и дело что-нибудь давали, какую-нибудь мелочь, излишек. Это сама предпраздничная атмосфера на площади все последние дни заставляла их с матерью, одиночек, закрывать свою дверь и не соваться наружу.

Гэла смотрел на мечущиеся язычки пламени слегка остекленевшими глазами и услышал, как Сандан тяжело вздохнула. Он пошевелился, улыбаясь, словно во сне сказал: «Мама...»

Сандан откликнулась.

Гэла вдруг спросил:

– А какой был мой дед?

Сандан напряглась и вся выпрямилась, но Гэла так и продолжал тихо лежать, скрючившись, у огня.

Он, собственно, сам испугался своего вопроса, потому что никогда раньше не позволял себе задавать матери такие вопросы. Он как будто с рождения уже знал, что нельзя матери задавать такие вопросы; и, конечно, он знал, что, даже если спросит, ответа не получит. Но сегодня эти слова у него сорвались с языка и вылетели.

Гэла словно со стороны слышал сам себя:

– Все говорят, ты на себе носишь мешок драгоценностей, это правда?

Сандан по-прежнему не отвечала.

Однако она выбралась из угла, села, убрала ту рухлядь, на которой вместо подушки лежала голова сына, и положила его голову к себе на колени; она тихонько пропускала его спутанные волосы сквозь пальцы, расчёсывая их, и только что очнувшийся ото сна Гэла снова впадал в забытие. Мать вся сгибалась над ним, что-то мягкое и тёплое касалось его плеча, он понимал, что это материнская грудь, вскормившая его; мать дрожащими губами касалась его щёк, большие горячие слёзы падали на его лицо.

Мать подвывала, словно волчица, обдавая его горячим дыханием: «Сынок, сынок мой...»

Гэла не отвечал ей, но глаза его тоже были полны слёз, горячие крупные капли сбегали из уголков глаз, было слышно, как они падают на пол.

В этот момент скрипнула дверь. Беззвучно, затаив дыхание, кто-то вошёл, словно тень впрорхнула в комнату. Гэла знал, что это пришёл его единственный в деревне друг, Заяц.

Гэла тотчас же высвободился из объятий матери и сел прямо; он сказал:

– Заяц, братишка, ты пришёл...

У немного подросшего в этом году Заяца на лбу по-прежнему извивался под кожей синий червяк вены, и говорил он тонким робким голосом:

– Брат Гэла, выпал снег...

Гэла повернулся и через неприкрытую дверь увидел снаружи в сумеречном глубоком небе гонимые ветром мелкие бесформенные, хаотично мечущиеся снежинки. Гэла, как взрослый, сказал:

– Прикрой дверь, братишка Заяц, разве это снег. Ветер задувает.

Заяц закрыл дверь, уселся на пол, словно дома. Когда заговорил, снова голос был робкий и тихий, как у девочки:

– Брат Гэла, почему ты не выходишь играть?

Гэла всегда перед Зайцем старался вести себя как большой взрослый мужчина, он потрепал его по голове:

– Эти дни маме нездоровится, ей надо отдохнуть, через несколько дней, когда встретите

Новый год, она поправится.

Заяц сказал:

– Все говорят, что ещё до Нового года приедут машины...

– Кто так сказал?

– Да все говорят, – Заяц тоже, невольно подражая Гэле, стал говорить, как взрослый.

– Все только про это, твердят одно и то же, и не хочешь да услышишь!

От таких его слов и Сандан и Гэла невольно засмеялись.

Гэла поднял глаза и посмотрел на мать; Сандан словно поперхнулась, вдруг перестала смеяться. Гэла вдруг обнаружил, что с какого-то времени мать стала его побаиваться. Это его немного обеспокоило, но вместе с тем он был и доволен, что внушает матери такое чувство.

– Приедут машины, и что будет? Всех погрузят на них и повезут в город на банкет? – После возвращения из своих скитаний Гэла стал говорить с напускной интонацией раздражения и недовольства.

Заяц немного испугался:

– Почему ты сердишься?

– Прости, прости, Заяц-братишка, – Гэла поспешил смягчить тон. – Приедут – ну и пусть приедут, Заяц, я тебе так скажу, если машины и увезут этих людей в город, то не на обед! А для чего – ты не знаешь. Потом пойдёшь со мной ходить, тогда узнаешь – у них собрания, весь день до вечера собрания! После собраний – шествия, потом расходятся по домам, про поесть даже не думай!

Когда он дошёл до этого, снова вернулась его гневная интонация.

Заяц сказал:

– Я не люблю собрания, там много людей, доктор говорит, мне нельзя туда, где много людей, у меня сердце слабое.

– Но тебе всё же хочется туда, где много людей? – В голосе у Гэлы послышалась насмешка.

– Один я боюсь, вместе с бабушкой мне тоже страшно. Доктор говорит, что у меня сердце может вдруг взять и остановиться.

Заяц выглядел совершенно несчастным.

– У-у, Заяц, братишка! Я же с тобой шутил, ты не такой как я, если тебе хочется туда, где много людей, иди, конечно. Главное, не давай себя обижать. Если эти негодяи, братья Ванцинъ, Цими Заячья Губа и те мальчишки, что за ними бегают, станут тебя обижать, я с ними разберусь. Эти ребята меня побаиваются! – Сказав это, Гэла и сам довольно усмехнулся.

– Но моя мама не хочет, чтобы я с тобой играл...

– А твой папа?

– Папа, и бабушка тоже, они говорят, можно с тобой играть.

– А этот ещё, у вас в семье, лама?

– Когда мама и папа ругаются, дедушка ничего не говорит. Дедушка не любит говорить.

Гэла засмеялся, но ничего не сказал.

– Бабушка и папа ещё сказали, что на Новый год позовут вас к нам в дом, папа говорит, что виноват перед вами.

– Зато твоя мама не хочет.

– Маме это не нравится, но папа говорит, что нельзя всё делать так, как говорят женщины.

Заяц приблизил губы к уху Гэлы:

– Мама плакала, мама сказала, что папе нравится твоя мама...

Гэла захохотал:

– Мама! Ты нравишься папе Зайца!

Услышав его слова, Сандан улыбнулась своей обычной бездумной улыбкой и, улыбаясь, разглядывала мальчиков; понемногу на её лице проступило выражение задумчивости, потом она вдруг резко перестала смеяться, прижала к губам плотно сжатый кулак и больше уже не издавала ни звука.

Заяц сказал:

– Она расстроилась.

Гэла сказал:

– А я, наоборот, рад, что она расстроилась, когда узнала, и ещё я рад, что она нравится твоему папе.

Заяц сказал:

– Я не буду говорить моей маме.

Гэла сказал:

– Твою мать...

Заяц повторил за ним:

– Твою мать...

Гэла сказал:

– Ты сейчас сказал нехорошее слово.

Заяц радостно засмеялся:

– Да, я сказал нехорошее слово!

Гэла сказал:

– Твой дедушка-лама и твой папа-монах будут сердиться. Они грамотные, культурные люди, им не нравится, когда говорят грубые слова. Твою мать, если они узнают, что я тебя учу плохим словам, ты тогда и не мечтай играть со мной.

– Твою мать, – снова сказал Заяц.

– Закрой рот, ты, твою мать!

Но Заяц не хотел закрывать рот и продолжал говорить:

– Твою мать, твою мать, твою мать... – и всё больше возбуждался, на бледных щеках появился румянец, синяя вена на лбу вздулась и затрепетала. Гэла испугался, сказал:

– Не надо говорить.

Но тот не слушал, в его глазах вдруг загорелся какой-то огонёк, зрачки остановились в одной точке и не двигались, но он всё продолжал произносить нараспев, говорил и одновременно смеялся, доводя себя до состояния, когда уже дыхания не хватало.

Гэла рывком поднялся, приобнял сзади Зайца, в которого словно бес вселился, и плотно прикрыл ладонью его рот. Тот укусил ему палец, от острой пронзительной боли Гэла весь вздрогнул и зашипел, втягивая сквозь стиснутые зубы холодный воздух, но ничуть не ослабил руку, зажимавшую рот Зайца. До тех пор, пока тот не перестал взвизгивать, пока не перестал дёргать обеими своими тонкими, худыми ногами. Только после этого Гэла выдохнул, словно выплюнул воздух, что был внутри, и разом разжал обе руки.

Вдруг Сандан издала испуганный вопль, то есть начала было вопить, но тут же на середине подавила, оборвала. В её округлившись глазах был ужас, руки прижаты ко рту, она не могла сдерживать дрожь, бившей всё её тело.

Только теперь Гэла увидел, что Заяц лежит на земле с поджатыми ногами, раскинув руки в стороны, а в углах рта выступила белая пена и глаза закатились, так что видны только белки, без сознания.

Гэла нагнулся и потряс его, похлопал, снова хлопал и тряс, целовал, ругал: «Заяц, умоляю тебя, очнись, Заяц, умоляю, не пугай меня, не умирай, прошу тебя, не умирай, если хочешь умирать, то только не у нас в доме, твою мать, я же прошу тебя, встань, умоляю, убирайся прочь, раскрой свои глаза, будь они прокляты, мать твою, правду говорила твоя мама, ты не должен со мной играть, тебе надо было играть с кем-нибудь другим из деревни, твою мать, твою мать, ты только очнись, я никогда больше не стану тревожить твою семью, никогда больше не буду с тобой играть...»

Но Заяц не шевелился. Гэла, обмякнув, сидел на земле, причитал, бранился, с отчаянием поглядывая на мать, и беззвучно плакал.

А Сандан с невинным видом, хрупкая и жалкая, сидела тут же, словно доверившись собственной судьбе, дрожа как сухой лист на зимнем дереве.

Гэла поднял глаза вверх, словно надеясь увидеть богов там, на небе. Но даже неба он не увидел, только чёрную закопчённую крышу и через щели крыши то тут то там пробивающийся внутрь свет, блеклый предвечерний свет сумеречного дня, когда падает снег, но нет снега.

В эти годы боги были где-то далеко, в другом месте.

В этот момент раздался стук в дверь. Сандан и Гэла разом выпрямились. Затем дверь чуть приоткрылась, бесплотный, но сильный ветер ворвался в эту щель и попытался распахнуть дверь настежь, но постучавший человек удержал её, и в щели показалась половина лица, лица Эньбо; на этом лице была не совсем естественная улыбка:

– Скажите пожалуйста, не здесь ли Заяц?

Оба сидевшие в комнате молча разинули рты, не произнося ни звука.

Хорошо ещё, что снаружи было светло, и заглядывавший внутрь дома какое-то время ничего не мог разобрать. А те, кто был внутри, напротив, хорошо видели, как и так большие глаза Эньбо раскрылись ещё шире:

– Скажите, пожалуйста, Заяц к вам сюда приходил?

Гэла закрыл рот и снова разинул, но опять не издал ни звука.

– Заяц сказал мне, что пойдёт играть к брату Гэле, Зайцу уже пора домой...

Гэла словно услышал тонкий слабый голосок Зайца: «Я здесь, папа, я здесь!»

На этот раз изо рта Гэлы наконец раздался звук; словно споря с этим голоском, он сказал:

– Нет, его здесь нет, дядя Эньбо, Зайца здесь нет.

Одновременно он почувствовал, как его тело одеревенело, словно скованное холодом, будто какой-то демон вселился в него.

Но Эньбо улыбнулся и сказал:

– Я знаю, ты любишь шутить...

Лежавший на земле Заяц уже поднялся на ноги, умерший было Заяц снова ожил, обойдя Гэлу, подошёл к отцу и сказал тихим и тонким голосом:

– Папа, пойдём домой.

Гэла промямлил:

– Дядя Эньбо, я больше не буду играть с Зайцем...

Эньбо распахнул руки, подхватил Зайца, а ветер распахнул дверь настежь. В раскрывшуюся дверь хлынул свет. Высокая, большая фигура Эньбо закрывала почти весь дверной проём. Он сказал:

– Ничего, вы можете играть вместе, веселее будет, играйте!

Эньбо развернулся, вышел, прикрыл за собой дверь, и свет, который в неё лился, унёс с собой. Гэла ещё слышал, как Заяц говорит своему отцу:

– Папочка, я сказал брату Гэле, что ты их пригласишь к нам домой на Новый год...

Гэла пробормотал: «Не надо, не надо...» Он обхватил руками голову, слышал, как внутри голос повторяет: «Не надо, не надо, не надо... Не надо приходить, не надо вместе играть, не надо звать нас к себе. Не надо, не надо, не надо!»

Он перебрался в угол, где лежала, свернувшись клубком, его мать, прижался к её груди головой, в которой всё ещё звучало это странное эхо.

Мать растопырила пальцы обеих рук, стала расчёсывать, распутывать его всклокоченные волосы, легонько поглаживала его лицо. Она сказала только: «Бедная моя деточка... Милая моя деточка...»

А потом пошёл снег.

Снег шёл такой густой, что небо потемнело. Снег накапливался и накапливался в тучах, небо больше не могло его удержать, и в конце концов он обрушился вниз, на землю.

Гэла вздохнул, всем сжавшимся в тугой комок телом прижался к матери и понемногу обмяк.

10

Снег шёл весь вечер.

Толстым снежным одеялом тихо накрыло всю Счастливую деревню. Поэтому в эту ночь было очень тепло. Поэтому в этот вечер было совершенно не похоже, что после такого что-то нехорошее может случиться.

Гэла давно не спал так сладко, не было никакого предчувствия надвигающейся беды. Даже когда поднялось солнце и чистым ясным светом, отражённым от заснеженной земли, ярко осветило комнату, он всё равно сладко спокойно спал.

Гэлу пробудил звон колокольчика начальной школы.

Звук колокольчика этим утром после снегопада, при этом ясном свете, под чистым небом, в сверкающем повсюду серебряном сиянии утреннего солнца был особенно звонким и чистым. Гэла, как от испуга, одним рывком поднялся и сел.

В комнате было так светло, что даже язычки огня в очаге стали почти незаметны, только было слышно, как они дрожат, расплываясь по углям, потрескивают, попрыгивают. Люди в Счастливой деревне говорят, что это огонь смеётся. Когда огонь разгорится как следует, он смеётся низким мужским голосом, это всегда считалось хорошей приметой. Гэла бросился наружу, зарылся лицом в чистый снег. Увидев оставшийся на снегу отпечаток своего лица, он не удержался и захохотал. Он пригоршнями стал хватать снег и растирать лицо, шею, руки. Он набирал в ладони нежный белый пушистый снег, снег в его руках таял, превращался в грязную воду и стекал грязными каплями.

Когда колокольчик зазвенел снова, Гэла распрямылся, стряхивая тающий снег, лицо его сияло и светилось. Когда Гэла был в приподнятом настроении, ему всегда хотелось поговорить. Он сказал: «Вот странно, в школе уже каникулы, кто же это звонит и зачем?»

Вслед за звоном колокольчика из окон окружавших площадь домов стали высовываться головы, стали со скрипом открываться выходящие на площадь двери.

Люди увидели, что это звонит командир взвода народного ополчения Собо.

Гэла и думать не думал, язык его сам повернулся во рту и сказал: «Удивительно, не знал, что командир взвода народного ополчения может быть ещё и школьным учителем...»

Собо видел, что жители деревни встревожились; окружённый толпой детишек и подростков, он вышел на середину площади и, выплёвывая клубы белого пара, объявил жителям деревни важную новость: сегодня в село приедут машины! Собо выкрикнул на одном дыхании:

– Хорошие новости! Позвонили из народной коммуны, сегодня приедут машины!

Ребяточки загалдели и, сгрудившись вокруг командира взвода, побежали за ним к въезду в деревню.

Конечно, среди них не было ни Гэлы ни Зайца.

Остальные двигались помедленнее, но не прошло и получаса, как почти всё население собралось у входа в деревню. Раньше там стоял алтарь, но его снесли, потому что он мешал машинам въехать в деревню.

Сверкающий снег скрипел под ногами людей и подтаивал на солнце. Вокруг деревни по-прежнему была девственно белая, слепящая глаза, сияющая тишина, кое-где на ветвях деревьев густо осевший снег таял под лучами солнца, соскальзывал и шумно хлопался на землю. Новая дорога змеилась вдоль речной долины, укрытая нетронутым снежным ковром. Люди тихо стояли, засунув руки в рукава, подошвы намокали от тающего снега, но они не двигались.

Быстрее всего таял снег на дорогах; на склонах и в полях стал проявляться, темнея, узор тропинок. Само шоссе тоже скоро выступило из-под снега, ручей вдоль шоссе помутнел от стекающей в него с дороги талой снеговой воды.

Так простояли до полудня, но даже намёка на грузовики не было. Потихоньку все вернулись в деревню. Гэла тоже поплёлся домой. По дороге Заяц с некоторой скорбью в голосе сказал:

– Брат Гэла, машины, наверное, не приедут...

– Не приедут так не приедут! – Гэла перед Зайцем часто изображал напускное безразличие взрослого мужчины.

– Мне беспокойно оттого, что машины не едут, – сказал Заяц.

– Почему?

Заяц сказал:

– Я не знаю, но мне почему-то беспокойно...

Гэла, как взрослый, пренебрежительно хохотнул:

– Пусть и не приезжают – вот увидишь, если приедут, ни тебе ни мне ничего хорошего не будет.

Заяц ничего не сказал.

– Ты что, думаешь, на машинах привезут леденцы на палочке, или деньги привезут и всем бесплатно раздавать будут?

Потом они разошлись, пошли по домам. Это была последняя их встреча перед тем, как Зайца ранило. Это было очень давно; Гэла часто вспоминал то, как они тогда расстались, и каждый раз удивлялся, что у него не было никакого предчувствия в отношении вскоре за тем последовавших трагических событий. К полудню снег почти весь растаял, воздух наполнился запахом свежей талой воды, и солнце уже не так сильно слепило глаза. Заяц прошёл уже несколько шагов и вернулся, настойчиво говоря Гэле:

– Если машины приедут, а я не услышу, ты должен позвать меня!

Гэла, изображая досаду, махнул рукой:

– Иди скорее домой, я помню. – Сказав так, он напрямик отправился к себе.

Вернувшись домой, он обнаружил, что Сандан с покрасневшимся лицом и сверкающими глазами, вся размякшая и измождённая, сидит у очага. Для Гэлы это была знакомая картина: снова какой-нибудь мужчина приходил в гости. Гэла в душе выругался, сохраняя, как у взрослого, ничего не выражающее лицо.

– Ты не ходила со всеми ждать машины?

Сандан захихикала и кокетливо сказала:

– И чего же вы все дождались?

Гэла с долей отвращения подумал, что этот кокетливый смешок – только отголосок, остаток нежности, подаренной тому мужчине. Но сказал он только пресным и ровным тоном:

– Я голоден.

Сандан тут же оживилась, быстро поднялась на ноги, словно по волшебству, извлекла откуда-то кусок свежего мяса, весело напевая что-то себе под нос, тонкими ломтями нарезала мясо, посолила, поджарила на огне. Гэла, как голодный волк, набросился на еду и проглотил три больших куска; Сандан смотрела на него, как он откусывает, как жуёт, глотает. Нежность к мужчине понемногу сменилась материнской нежностью во взгляде, которым она смотрела на сына. Она дождалась, пока сын наестся, и тогда только сама принялась за еду.

Гэла глядел на мать с жалостью и состраданием, мать тоже смотрела на своего сына с печалью и нежностью. В этом было что-то похожее на ощущение счастья.

Гэла услышал свой собственный смех.

Мать крепко прижала свой лоб ко лбу сына и тоже стала смеяться.

Они смеялись всё громче, в этом безотчётном бездумном веселье были одновременно и радость и горечь.

Гэла вдруг почувствовал острое желание спросить у матери, кто это был, что за мужчина принёс оленину, но он только продолжал похихатывать. Тогда мать спросила:

- Сынок, хочешь ещё мяса?
- Скоро Новый год, хочу.
- На Новый год у нас будет много оленины.

Мать рассказала, что один человек убил оленя, спрятал его на горе за деревней, у огромной скалы, которая становится кроваво-красной в лучах заходящего солнца, в дупле большой горной сосны, где когда-то давно медведь устроил себе логово. Гэла подумал, что за этим мать должна будет сказать ему имя того, кто спрятал в дупле мясо оленя. Но она не стала продолжать, а вместо этого сунула ему мешок, верёвку и большой нож. Со смутным разочарованием в глубине души Гэла вышел из дома и направился в горы.

Преодолев очередной крутой подъём, он останавливался на время перевести дух, закидывал вверх голову и смотрел на возвышающуюся над лесом тёмно-красную скалу. И всякий раз спрашивал себя: кто этот мужчина, какой же это мужчина?

Каждый раз, когда в его голове всплывал этот вопрос, один за другим образы мужчин возникали в его сознании. Но он тут же мотал головой, отбрасывая их один за другим. Такое движение головой имело двойной смысл; во-первых, он никогда не разрешал себе думать об этом, но сейчас всё-таки наконец думал, это было сладкое беспокойство; во-вторых, он совершенно не хотел, чтобы кто-либо из этих возникающих в сознании образов был бы его отцом.

Когда он последний раз поднял голову и посмотрел вверх, огромный красный утёс уже высился перед ним.

Собственно, это было плато на середине горы, а на нём стояла эта скала, в центре поляны, окружённой со всех сторон горными елями. Никто в Счастливой деревне не знал, что эта ровная площадка много десятков тысяч лет назад была создана сползавшим с горы ледником, никто также не знал, что красная скала была принесена туда ледником с вершины горы. Ледник растаял и стал потоками воды, скатился с горы вниз, а камень навеки остался здесь, странное чужеродное тело.

Гэла, конечно, тоже не знал этого. Но когда он забрался на край этого плато и увидел перед собой высокую, вертикально стоящую красную стену, то в голове сложился последний образ.

Так это же отец Зайца!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.